



АНАТОЛЬ ФРАНС
СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЯ



Милл 49.

Annotation

«Современная история» (1897–1901), объединяющая четыре романа «Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже», это – историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает пронизательность и беспристрастие учёного изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.

Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлечённые теории кабинетного учёного, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.

В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо – учёный историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.

- [Анатоль Франс](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)

- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)

- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)
[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Анатоль Франс
Аметистовый перстень



Госпожа Бержере как сказала, так и поступила, – покинув супружеский очаг, она перебралась к своей матери, вдове Пуйи.

В последнюю минуту она было раздумала уезжать. Если бы хоть кто-нибудь попытался удержать ее, она бы согласилась забыть прошлое и вернуться к совместной жизни, лишь сохранив некоторое презрение к г-ну Бержере, как к обманутому мужу.

Она готова была простить. Но непоколебимое уважение со стороны окружавшего ее общества не позволило ей этого. Г-жа Делион дала ей понять, что на такую уступчивость посмотрят косо. В главном городе департамента все светские гостиные проявляли в этом полное единодушие. У лавочников не было двух мнений: г-жа Бержере должна удалиться в лоно своей семьи. Тем самым общество и твердо поддерживало нравственные устои и заодно избавлялось от нескромной, грубой, компрометирующей особы, вульгарность которой бросалась в глаза даже вульгарным людям, и тяготила всех. Ей дали понять, что ее отъезд произведет эффектное впечатление.

– Восхищаюсь вами, милочка, – говорила ей из глубины своего кресла старая г-жа Дютийель, несокрушимая вдова четырех мужей, ужасная женщина, подозреваемая в чем угодно, кроме способности любить, а потому почитаемая всеми.

Госпожа Бержере была довольна тем, что внушала симпатию г-же Делион и восхищение г-же Дютийель. Но все-таки она медлила с отъездом, так как по натуре не склонна была покидать насиженное место и привычный уклад, чувствуя себя привольно среди праздности и лжи. При

таким обороте дела г-н Бержере удвоил старания и заботы, чтобы обеспечить себе освобождение. Он энергично поощрял служанку Мари, которая поддерживала в доме скудость, трепет и отчаяние, принимала, как говорили, у себя на кухне воров и разбойников и не могла сделать ни шага, чтоб не произошел какой-нибудь несчастный случай.

За девяносто шесть часов до дня, назначенного для отъезда г-жи Бержере, эта девица, по обыкновению пьяная, пролила в спальне своей хозяйки горящий керосин из лампы и подожгла голубой кретоновый полог кровати. Г-жа Бержере была в этот вечер в гостях у своей приятельницы г-жи Лакарель. Вернувшись домой и пройдя среди зловещей тишины к себе в комнату, она обнаружила последствия ужасного события. Тщетно звала она мертвецки пьяную служанку и своего каменного мужа. Она долго созерцала опустошения, произведенные пожаром, и мрачные следы дыма на потолке. Это житейское происшествие принимало в ее глазах мистический характер и пугало ее. Наконец, когда свеча уже догорела, она, усталая и прозябшая, прилегла на постель под обуглившимся балдахинном, на котором трепыхались черные лоскутья, похожие на крылья летучих мышей. Проснувшись поутру, она заплакала при виде своего полога, памяти и символа ее юности, и растрепанная, босая, в одной сорочке, черная от копоти выбежала из спальни, оглашая погруженный в молчание дом криками и стонами. Г-н Бержере не откликнулся, потому что она для него как бы не существовала.

Вечером с помощью служанки Мари она передвинула кровать на середину разоренной спальни. Но ей стало ясно, что эта комната никогда уже больше не будет служить для нее приютом и что придется покинуть жилище, где она в течение пятнадцати лет каждодневно выполняла свои жизненные функции.

А хитроумный Бержере, наняв для себя и своей дочери Полины небольшую квартирку на улице св. Экзюпера, старательно занялся переселением. Он беспрестанно сновал взад и вперед, скользил вдоль стен, семенил с проворством мышонка, застигнутого среди развалин. В глубине души он ликовал, но скрывал свою радость, ибо был мудр.

Получив уведомление, что приближается срок для сдачи ключей домовладельцу и что пора уезжать, г-жа Бержере тоже занялась отправкой, своего имущества к матери, проживавшей в маленьком домишке на крепостном валу одного из северных городков. Она укладывала стопками белье и платье, передвигала мебель, давала распоряжения упаковщику, чихая от клубившейся пыли, и писала на ярлыках адрес вдовы Пуйи.

Госпожа Бержере как бы черпала в этом занятии некоторое

нравственное преимущество. Труд полезен человеку. Он отвлекает его от собственной жизни, отвращает от мучительного заглядывания в самого себя; он мешает ему всматриваться в того двойника, который живет в нем и делает страшным его одиночество. Это безошибочное средство от всяческих нравственных и эстетических страданий. Хорошо оно еще и тем, что льстит нашему тщеславию, тешит наше бессилие и ласкает нас надеждой на приятный оборот событий. Мы мним, что благодаря ему распоряжаемся своей судьбой. Не улавливая необходимой связи наших усилий с механизмом вселенной, мы считаем, что они направлены нам на благо и в ущерб всему прочему миру. Труд создает иллюзию воли, силы и независимости. Он обожествляет нас в собственных глазах, благодаря ему мы смотрим на себя, как на героев, гениев, демонов, демиургов, богов, как на самого господя бога. И действительно, бога никогда не представляли себе иначе как в образе труженика. Вот почему к г-же Бержере во время упаковки вернулась ее природная веселость и благодатная жизненная энергия. Укладываясь, она пела романсы. Усиленное кровообращение вливало радость в ее душу. Будущее рисовалось ей в благоприятном свете. В радужных красках представляла себе она будущую жизнь в маленьком фламандском городке в обществе матери и младшей дочери. Она надеялась там помолодеть, нравиться, блистать, вызывать симпатию, поклонение. И – почем знать? – может стать, там, на родине семейства Пуйи, она вторично выйдет замуж, за богатого, выиграв бракоразводный процесс и добившись признания вины за мужем. Почему бы ей не вступить в брак с приятным и солидным человеком, домовладельцем, помещиком или чиновником, словом, с кем-нибудь почище какого-то Бержере?



Упаковка доставляла ей, кроме того, особого рода удовлетворение, связанное с возможностью кое-чем поживиться. Действительно, не довольствуясь тем, что она забирала мебель, принесенную ею в приданое, и изрядную долю совместных приобретений, она загребала в свои сундуки предметы, которые по всей справедливости должна была оставить другой стороне. Так, она сунула между своими сорочками серебряную чашку, доставшуюся г-ну Бержере в наследство от бабки по материнской линии. Точно так же присоединила она к своим, по правде сказать, довольно дешевым драгоценностям цепочку и часы г-жа Бержере-отца, экстраординарного профессора, отказавшегося в 1852 году принести присягу империи и умершего в бедности и забвении в 1873 году.

Госпожа Бержере прерывала сборы только для того, чтобы наносить прощальные визиты, грустные и торжественные. Общественное мнение было на ее стороне. Каждый судит по-своему, и нет в мире такого предмета, по поводу которого существует единодушное согласие умов. Tradidit mundum disputationibus eorum.^[1] Так и г-жа Бержере была предметом игривых споров и тайных разногласий. Большинство буржуазных дам считали ее безупречной, поскольку они ее принимали. Некоторые, впрочем, подозревали, что ее приключение с г-ном Ру было не совсем невинного характера; кое-кто это даже высказывал. Одни порицали ее, другие извиняли; третьи, наконец, одобряли, сваливая вину на г-на Бержере и его скверный характер.

Впрочем, и этот пункт вызывал сомнения. Были люди, утверждавшие, что он человек спокойный и добродушный и что ему вредит только острота его ума, ненавистная для всякой посредственности.

Господин де Термондр даже уверял, что Бержере очень славный человек; на это г-жа Делион возражала, что, будь он действительно добр, он оставил бы жену при себе, какой бы скверной она ни была.

– Вот этим он действительно доказал бы свою доброту, – говорила она. – А ужиться с очаровательной женщиной – тут нет никакой заслуги.

Госпожа Делион говорила также:

– Господин Бержере старается удержать жену. Но она покидает его, и правильно делает. Это послужит ему возмездием.

Таким образом суждения г-жи Делион не всегда вязались между собою, потому что людскими мыслями руководит не сила разума, а пыл чувств. Хотя мнения света зыбки, все же г-жа Бержере оставила бы по себе в городе хорошую память, если бы, придя накануне отъезда к г-же Лакарель, не очутилась в гостиной наедине с г-ном Лакарелем.

* * *

У г-на Гюстава Лакареля, правителя канцелярии префекта, были густые; длинные русые усы, которые, придав особый отпечаток его физиономии, впоследствии придали особый отпечаток и его характеру. Еще в юности, на юридическом факультете, студенты находили в нем сходство с галлами, фигурирующими в скульптуре и живописи поздних романтиков. Некоторые более ехидные наблюдатели, обратив внимание на то, что эти усища топорщились под незначительным носом, а взгляд выражал кротость, прозвали Лакареля «Тюленем». Но эта кличка не одержала верх над «Галлом»; Лакарель остался для своих однокашников галлом, который в их представлении много пьет, дерется с каждым встречным и поперечным, не дает спуска девушкам, словом соответствует как по существу, так и с виду тому образу, какой на протяжении веков принято считать образом француза. Его заставляли пить больше, чем ему хотелось, а, входя с ним в пивную, немедленно толкали к служанке, нагруженной подносами. Когда он вернулся в родные края, чтобы жениться, и ему предоставилась счастливая и по тем временам редкая возможность зачислиться на службу в центральную администрацию своего департамента, – то и здесь сливки магистратуры, адвокатуры и чиновничества, бывавшие у него, опять-таки стали называть его «Галлом».

Но непросвещенная толпа наградила его этим почетным прозвищем только в 1895 году, когда на облицованном выступе Национального моста состоялось торжественное открытие памятника Эпоредориксу.

За двадцать два года до этого, в эпоху президентства г-на Тьера, решено было воздвигнуть, частью по национальной подписке, частью на государственные средства, памятник галльскому вождю Эпоредориксу, который в 52 году до рождения Христа поднял восстание против Цезаря среди жителей речного побережья и подверг опасности маленький римский гарнизон, подрубив деревянный мост, переброшенный для коммуникации с армией. Археологи административного центра считали, что этот воинский подвиг был совершен в их городе, и основывали свое утверждение на том месте из «Галльской войны», на которое ссылалось уже не мало ученых обществ в доказательство, что деревянный мост, сломанный Эпоредориксом, находился именно в том самом городе, где данное ученое общество имело свое местопребывание. География Цезаря полна неточностей; местный же патриотизм горд и самолюбив. Департаментский центр, три супрефектуры и четыре кантональных центра оспаривали друг у друга честь истребления римлян мечом Эпоредорикса.

Компетентные авторитеты разрешили спор в пользу департаментского центра. Это был незащищенный город, который в 1870 году после часовой бомбардировки вынужден был, со скорбью и гневом, впустить неприятеля в свои стены, разрушенные еще в эпоху Людовика XI и густо поросшие плющом. Город подвергся всем тяготам оккупации; его жителей притесняли и облагали контрибуцией. Предложение воздвигнуть памятник во славу галльского вождя было встречено с энтузиазмом. Город, чувствуя себя опозоренным, был благодарен своему древнему соотечественнику за то, что мог гордиться им. Прославленный вновь после полутора тысяч лет забвения, Эпоредорикс объединил горожан в чувстве сыновней любви. Его имя не внушало недоверия ни одной из политических партий, на которые тогда делилась Франция. Умеренные радикалы, конституционалисты, роялисты, орлеанисты, бонапартисты внесли свою лепту, и подписка была наполовину покрыта в том же году. Департаментские депутаты выхлопотали у правительства пополнение нужной суммы. Статуя Эпоредорикса была заказана Матье Мишелю, самому юному из учеников Давида д'Анже,^[2] называвшего его утехой своей старости. Матье Мишелю шел тогда пятый десяток; он тотчас же принялся за дело и ухватился за глину смелой рукой, впрочем несколько потерявшей сноровку, так как он был республиканцем и за все время Империи не получал заказов. Менее чем в два года закончил он свою статую, и ее гипсовая модель была

выставлена в Салоне 4873 года среди множества других галльских вождей, собранных под обширным стеклянным потолком между пальмами и бегониями. Из-за канцелярских формальностей мраморное изваяние удалось закончить лишь через пять лет. Вслед за тем между городом и государством возникли такие административные пререкания, начались такие споры, что статуе Эпоредорикса, казалось, уже не суждено было выситься на выступе Национального моста.

Тем не менее она была воздвигнута в июне 1895 года. Статуя, присланная из Парижа, была принята префектом и торжественно передана им мэру города. Скульптор Матье Мишель прибыл вместе со своим произведением. Ему было тогда уже за семьдесят. Весь город лицезрел эту голову престарелого льва с длинной седой гривой. Освящение памятника состоялось 7 июня в присутствии министра народного просвещения г-на Дюпона, департаментского префекта г-на Вормс-Клавлена, городского мэра г-на Трюмеля. Энтузиазм, конечно, был не такой, как если бы это случилось сейчас же после нашествия, в дни негодования. Но тем не менее все были довольны. Рукоплескали речам ораторов и мундирам офицеров. И когда упал зеленый холст, скрывавший Эпоредорикса, весь город воскликнул в один голос: «Господин Лакарель! Да это господин Лакарель... Вылитый господин Лакарель...»

В сущности сходство было не так уж велико. Матье Мишель, выученик и подражатель Давида д'Анже, тот, которого мастер величал утехой своей старости, скульптор – республиканец и патриот, инсургент сорок восьмого года, волонтер семидесятого года, вовсе не воспроизвел в своей героической скульптуре образ г-на Лакареля. О нет! Этот вождь с застенчивым и мягким взглядом, прижимавший к сердцу метательное копьё и, казалось, таивший под своим ширококрылым шлемом поэзию Шатобриана и историческую философию г-на Анри Мартена,^[3] вождь, овеянный романтической меланхолией, не был, как вещал народный глас, истинным портретом г-на Лакареля. У правителя канцелярии были большие глаза навывкате, короткий круглый нос, мягкие щеки, жирный подбородок, а Эпоредорикс Матье Мишеля глядел вдаль глубоко запавшими глазами, нос у него был прямой, контур лица четкий и классический. Но так же, как и у г-на Лакареля, у него были страшные усища, длинные извивы которых были видны, с какой стороны ни посмотреть – с севера и юга, с востока и запада.

Пораженная этим сходством, толпа единодушно почтила г-на Лакареля именем прославленного Эпоредорикса. И с тех пор правитель канцелярии префекта считал себя обязанным публично воплощать популярный тип

галла и сообразовать с этим при всех обстоятельствах свои поступки и речи. Лакарелю его роль довольно хорошо удавалась, так как он прошел подготовку по этой части еще на юридическом факультете и от него требовали только, чтобы он был весельчаком, воякой и при случае отпускал вольное словцо. Находили, что он мило целуется, и он стал завзятым поцелуйщиком. Женщин, девиц и девочек, красивых и безобразных, молодых и старых – он целовал всех направо и налево только потому, что так полагается истому галлу, и совершенно невинно, ибо он был человек нравственный.

Вот почему, случайно застав г-жу Бержере одну в гостиной, где она ждала его жену, он тотчас же поцеловал гостью. Г-же Бержере были известны повадки г-на Лакареля. Но тщеславие, которое было у нее весьма сильно, смутило рассудок, который был у нее весьма слаб. Она приняла этот поцелуй за признание в любви и испытала такое чувство смятения, что грудь ее начала порывисто вздыматься, ноги подкосились и она, тяжело дыша, упала в объятия г-на Лакареля. Г-н Лакарель был удивлен и смущен. Но самолюбие его было польщено. Он усадил, как сумел, г-жу Бержере на диван и, склонившись к ней, произнес голосом, в котором сквозила симпатия:

– Бедняжка!.. Такая очаровательная и такая несчастная!.. Так вы нас покидаете!.. Вы уезжаете завтра?...

И он запечатлел на ее лбу невинный поцелуй. Г-жа Бержере, у которой нервы были взвинчены, внезапно разразилась слезами и рыданиями. Затем она медленно, серьезно, скорбно вернула поцелуй г-ну Лакарелю. В эту минуту вошла в гостиную г-жа Лакарель.

На другой день весь город строго осудил г-жу Бержере, которая запоздала с отъездом на одни только сутки.

II

Герцог де Бресе принимал у себя в Бресе генерала Картье де Шальмо, аббата Гитреля и г-на Лерона, товарища прокурора в отставке. Они посетили конюшни, псарни, фазаний двор и успели притом поговорить и о «Деле».

День тихо подходил к концу. Они замедлили шаги на главной аллее парка. Перед ними на фоне серого облачного неба высился массивный фасад замка, перегруженный фронтонами и увенчанный остроконечными кровлями.

– Повторяю, – сказал г-н де Бресе, – скандал, поднятый вокруг этого дела, есть не что иное, как отвратительный маневр врагов Франции...

– И врагов религии, – тихо добавил аббат Гитрель, – и врагов религии. Нельзя быть достойным французом, не будучи достойным христианином. И мы видим, что весь шум затеян главным образом вольнодумцами, франкмасонами, протестантами.

– И евреями, – вставил г-н де Бресе, – евреями и немцами. И какая неслыханная наглость усомниться в приговоре военного суда! Ведь нельзя же в самом деле допустить, чтобы все семь французских офицеров ошиблись.

– Конечно, нет; этого нельзя допустить, – подтвердил аббат Гитрель.

– Вообще говоря, – сказал г-н Лерон, – судебная ошибка – нечто очень маловероятное. Скажу даже – невозможное, поскольку закон предоставляет обвиняемым всяческие гарантии. Я имею в виду гражданское судопроизводство. Но отношу это также к судопроизводству военному. Если подсудимый не находит тех же гарантий в формальностях несколько сокращенной процедуры, зато он найдет их в личности судей. По-моему, сомнение в законности приговора, вынесенного военным судом, есть уже само по себе оскорбление армии.

– Вы совершенно правы, – подтвердил г-н де Бресе. – Да и к тому же, можно ли допустить, чтобы семь французских офицеров ошиблись? Можно ли это допустить, генерал?

– С трудом, – отвечал генерал Картье де Шальмо. – Я лично допустил бы это с трудом.

– Синдикат изменников! – воскликнул г-н де Бресе. – Просто неслыханно!

Разговор стал более вялым и прекратился. Герцог и генерал заметили

фазанов на лужайке и, охваченные инстинктивным и неискоренимым желанием убивать, пожалели в глубине души, что при них не было ружей.

– У вас лучшая охота в здешних местах, – сказал генерал герцогу де Бресе.

Герцог погрузился в задумчивость.

– Так или иначе, – сказал он, – евреи не принесут счастья Франции.

Герцог де Бресе, старший сын покойного герцога, некогда блиставший в рядах «легкой кавалерии» Версальского собрания, вступил на политическое поприще после смерти графа Шамбора.^[4] Он не знал дней надежды, часов жаркой борьбы, монархических махинаций, увлекательных, как заговор, насыщенных страстями, как аутодафе; не видал вышитых пологов, поднесенных монарху владельницами замков, знамен, стягов, белых лошадей, которые должны были привезти короля. Как наследственный депутат от Бресе, он вступил в Бурбонский дворец с чувством глухого недоброжелательства по отношению к графу Парижскому и с тайным желанием, чтобы трон не был восстановлен в пользу младшей линии. В остальном же он был лояльным и преданным монархистом. Он был вовлечен в интриги, которых не понимал, запутался при голосованиях, кутил в Париже и при перевыборах в палату потерпел в Бресе поражение от доктора Котара.

С тех пор он посвятил себя сельскому хозяйству, семье, религии. Из наследственных земель, охватывавших в 1789 году сто двенадцать приходов и состоявших из ста семидесяти феодалов, четырех владений с правом на титулование, восемнадцати кастелянств, ему досталось восемьсот гектаров земельных угодий и леса вокруг исторического замка Бресе. Его охоты придавали ему в департаменте тот блеск, которого не придавал ему Бурбонский дворец. Леса Бресе и Герши, где некогда охотился Франциск I, прославились также и в истории церкви: там находилась почитаемая часовня Бельфейской божьей матери.

– Запомните то, что я вам говорю, – повторил герцог де Бресе, – евреи не принесут счастья Франции... Не понимаю почему от них не избавятся. Ведь это же так просто!

– Это было бы превосходно, – ответил товарищ прокурора, – но не так просто, как вы думаете, ваша светлость. Чтоб добраться до евреев, надо прежде всего ввести хорошие законы о натурализации. Издать хороший закон, отвечающий намерениям законодателя, вообще нелегко. Законодательные же постановления, предполагающие, как в вашем проекте, ломку нашего публичного права, издаются с необычайным трудом. Да и сомнительно, к сожалению, чтобы нашлось такое правительство,

которое взялось бы предложить их или поддержать, и такой парламент, который стал бы за них голосовать... А наш сенат никуда не годится...

По мере того как у нас на глазах разворачивается опыт истории, мы убеждаемся, что восемнадцатый век есть сплошное заблуждение человеческого разума и что социальная истина, как и истина религиозная, заключается целиком в традициях; средних веков. Во Франции, как это уже случилось в России, скоро понадобится возобновить в отношении евреев меры, применявшиеся при феодальном строе, настоящем образце христианского общества.

– Это неоспоримо, – сказал г-н де Бресе, – христианская Франция должна принадлежать французами христианами, а не евреям и протестантам.

– Bravo, – отозвался генерал.

– Был в моем роду, – продолжал г-н де Бресе, – один младший отпрыск, прозванный, не знаю почему, Серебряный Нос и сражавшийся против нашей провинции при Карле Девятом.^[5] Вон на том дереве с оголенной верхушкой он приказал повесить шестьсот тридцать шесть гугенотов. Так вот, признаюсь вам, я горжусь тем, что веду свое происхождение от Серебряного Носа. Я унаследовал от него ненависть к еретикам. И я ненавижу евреев, как он ненавидел протестантов.

– Это весьма похвальные чувства, ваша светлость, – сказал аббат Гитрель, – очень похвальные и достойные великого имени, которое вы носите. Позвольте мне только указать на один пункт. Евреи не считались еретиками в средние века. Да и, в сущности говоря, они не еретики. Еретик это тот, кто, приняв святое крещение, знает догматы веры, но отступает от них или борется с ними. Таковыми являются или являлись ариане, новациане, монтанисты, присциллиане, манихейцы, альбигойцы, вальденсы и анабаптисты, кальвинисты, с которыми так основательно расправлялся ваш прославленный предок Серебряный Нос, и многие другие сектанты или сторонники взглядов, противных учению церкви. Число их велико, ибо многообразие есть свойство заблуждения. Тот, кто впал в ересь, катится по наклонной плоскости; одним расколом порождается другой раскол, и так до бесконечности. Едина только истинная церковь, а прочие рассыпаются мелкой пылью. Я нашел у Боссюэ, ваша светлость, великолепное определение для еретика: «Еретик, – говорит Боссюэ,^[6] – это тот, кто имеет собственные взгляды, руководится своим мнением и своим личным чувством». Но еврей, не сподобившийся таинства крещения и познания истины, не может быть назван еретиком. Да мы и видим, что инквизиция

никогда не преследовала евреев за то, что они евреи, и если она предавала их светскому правосудию, то только как осквернителей святыни, богохульников или совратителей правоверных. Евреи, ваша светлость, должны быть скорее отнесены к неверным, как называют всех, кто не был крещен, кто не приобщился истин христианской веры. При этом, однако, нельзя причислять их к неверным в том же смысле, что и магометан или каких-либо идолопоклонников. Система вечных истин отводит евреям совершенно особое место. Богословие дает им определение, соответствующее их роли в священном предании. В средние века их называли «свидетельствующими». Сила и меткость этого термина достойны восхищения. Действительно, господь хранит евреев как живое свидетельство и подтверждение слов и деяний, лежащих в основе нашей религии. Не надо думать, что господь намеренно порождает в них слепое упорство, чтобы оно служило доказательством истинности христианской веры. Евреи коснеют в своем упорстве по свободному произволу, а бог лишь пользуется этим, дабы укрепить нас в нашей вере. Ради того он и сохраняет евреев среди прочих народов.

– А между тем, – сказал г-н де Бресе, – они отнимают у нас наши деньги и подрывают нашу национальную мощь.

– И оскорбляют армию, – вставил генерал Картье де Шальмо, – или, вернее, поручают оскорблять ее своим наемным брехунам.

– Это – преступление, – кротко сказал аббат Гитрель. – Спасение Франции – в единении духовенства и армии.

– Почему же в таком случае, господин аббат, вы защищаете евреев? – спросил герцог де Бресе.

– Я далек от того, чтобы защищать их, – возразил аббат Гитрель, – напротив, я осуждаю их за непростительное заблуждение, за их неверие в божественность Иисуса Христа. В этом пункте их упорство непоколебимо. То, во что они веруют, достойно веры, но не во все, что достойно веры, они веруют. Тем самым они и навлекли на себя осуждение. Оно тяготеет над всем народом, а не над отдельными личностями, и не касается израильтян, принявших христианство.

– А мне крещеные евреи не менее противны и, пожалуй, еще противнее, чем прочие, – сказал г-н де Бресе. – Я ненавижу их расу.

– Позвольте мне этому не поверить, ваша светлость, – ответил аббат Гитрель, – ибо это было бы прегрешением против веры и милосердия. И вы, без сомнения, разделяете мою мысль о том, что надо, до известной степени, питать признательность к некрещеным евреям за их добрые намерения и их щедроты в отношении наших богоугодных заведений.

Нельзя, например, отрицать, что семьи Р. и Ф. подали в этом случае пример, которому должны бы подражать все христианские дома. Скажу даже, что госпожа Вормс-Клавен, хотя еще не принявшая открыто католичества, последовала во многих случаях истинно ангельскому внушению. Супруге префекта мы обязаны той терпимостью, какую пользуются в нашем департаменте всюду преследуемые конгрегационные школы.

Что же касается баронессы де Бонмон, то она хоть и еврейка по рождению, но христианка по поступкам и по духу и в известной степени подражает тем благочестивым вдовам прошлых веков, которые уделяли церквям и бедным часть своих богатств.

– Эти Бонмоны немецкого происхождения, и их настоящее имя Гутенберг, – заметил г-н Лерон. – Дед разбогател на изготовлении абсента и вермута, словом на ядах; его трижды приговаривали за злостное надувательство и фальсификацию. Отец, промышленник и финансист, составил скандальное состояние на спекуляциях и хищнических скупках. Впоследствии его вдова преподнесла золотую дароносицу его преосвященству епископу Шарло. Эти люди напоминают мне двух стряпчих, которые, после проповеди доброго отца Майяра, перешептывались друг с другом на паперти: «Да неужели отдавать, что в руки попало?»

– Замечательно, – продолжал г-н Лерон, – что у англичан еврейский вопрос вовсе не существует.

– Потому что у них не такой характер, кровь не такая кипучая, как у нас, – отвечал г-н де Бресе.

– Безусловно, – сказал г-н Лерон, – весьма ценное замечание, ваша светлость. Но причины, быть может, заключаются еще в том, что англичане помещают свои капиталы в промышленность, тогда как наше трудолюбивое население вкладывает деньги в сбережения, то есть отдает их в руки спекулянтам, а значит – евреям. Все зло в том, что у нас сохранились установления, законы и нравы революции. Спасенье в одном: в быстром возврате к старому режиму.

– Да, это верно, – задумчиво произнес герцог де Бресе. Так шли они, беседуя между собой. Вдруг, по дороге, предоставленной в пользование жителям местечка покойным герцогом, быстро, весело, шумно пронесся шарабан с фермершами в украшенных цветами шляпах и с землепашцами в блузах; среди них восседал рыжебородый весельчак с трубкой во рту, делавший вид, будто целится из своей трости в фазанов. То был доктор Котар, теперешний депутат бресейского округа, бывшего ленного владения

герцогов де Бресе.

– По меньшей мере странное зрелище, – сказал г-н Лерон, стяхивая с себя пыль, поднятую шарабаном. – Какой-то лекарь Котар, ваша светлость, представляет в палате Бресейский округ, который ваши предки в течение восьми столетий покрывали славой и осыпали щедротами. Вчера я еще читал в книге у господина де Термондра письмо, написанное вашим прапрадедом в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году и свидетельствующее о его сердечной доброте. Помните ли вы это письмо, ваша светлость?

Господин де Бресе отвечал, что помнит, но не во всех подробностях.

И г-н Лерон стал тут же цитировать на память главные места этого трогательного письма: «Я узнал, – писал добрый герцог, – что, к огорчению жителей Бресе, им не позволяют собирать землянику в моих лесах. Подобные меры приведут к тому, что меня начнут ненавидеть, а это доставит мне величайшее огорчение на свете».

– В очерке господина де Термондра, – продолжал г-н Лерон, – я нашел и другие интересные подробности из жизни доброго герцога де Бресе. Ведь именно здесь он переждал самые тревожные времена, и никто его не трогал. Его благодеяния заслужили ему во время революции и любовь и уважение его бывших вассалов. Взамен титулов, отнятых у него декретом Национального собрания, он получил чин командира бресейской национальной гвардии. Господин де Термондр сообщает нам также, что двадцатого сентября тысяча семьсот девяносто второго года муниципалитет Бресе отправился во двор замка и посадил там дерево Свободы, повесив на нем табличку: «Во славу доблести».

– Господин де Термондр, – заметил герцог, – почерпнул эти сведения из наших семейных архивов. Я предоставил ему доступ к ним. К сожалению, у меня никогда не было досуга, чтобы лично с ними ознакомиться. Герцог Луи де Бресе, о котором вы говорите, прозванный «добрым герцогом», умер от огорчения в тысяча семьсот девяносто четвертом году. Он отличался благожелательным характером, которому даже революционеры отдавали дань почтения. Все признают, что он прославился верностью королю; он был хорошим отцом, хорошим мужем, а для своих вассалов – хорошим господином. Не надо придавать веры лживым разоблачениям некоего Мазюра, департаментского архивариуса, который утверждает, что добрый герцог был в интимных отношениях с самыми хорошенькими из своих вассалок и охотно пользовался правом первой брачной ночи. Да и само существование такого права весьма сомнительно, и я лично не нашел никаких следов его в архивах Бресе,

частью уже разобранных.

– Если это право и существовало в каких-либо провинциях, – пояснил г-н Лерон, – то оно ограничивалось данью мясом или вином, которую крепостные должны были приносить своему господину при заключении брака. Мне помнится, что в некоторых местностях они выплачивали эту дань звонкой монетой и что она составляла три су.

– Я полагаю, – заявил г-н де Бресе, – что добрый герцог не дает никакого повода к обвинениям, возведенным на него этим господином Мазюром, о котором мне говорили, как о личности неблагонадежной. К сожалению.

Господин Бресе испустил легкий вздох и продолжал более тихим, приглушенным голосом:

– К сожалению, «добрый герцог» читал слишком много дурных книг. В библиотеке замка нашли полные собрания сочинений Вольтера и Руссо в сафьяновых переплетах с нашим гербом. Герцог находился до известной степени под пагубным влиянием, которое оказывали философские идеи в конце восемнадцатого века на все классы нации и даже, надо признаться, на высшее общество. Он питал страсть к писательству. У меня хранится рукопись оставленных им «Мемуаров». Госпожа де Бресе и господин де Термондр заглядывали в нее. Поразительно, что эти «Мемуары» отдают вольтерианским духом. В отдельных местах у герцога проскальзывает благосклонное отношение к энциклопедистам. Он был в переписке с Дидро. Вот почему я и не счел возможным разрешить опубликование этих мемуаров, несмотря на просьбы нескольких местных ученых и даже самого господина де Термондра.

«Добрый герцог» недурно владел стихом. Он заполнял целые тетради мадригалами, эпиграммами и разными повестушками. Это извинительно. Но менее извинительно то, что он позволял себе в своих легкомысленных стихах насмешки над церковными обрядами и даже над чудесами, которые творились здесь с благословения Бельфейской божьей матери. Прошу вас, господа, не распространять этого. Все должно остаться между нами. Я был бы в отчаянии, если бы подобные черточки прошлого дали пищу общественному злословию и наглому любопытству таких господ, как Мазюр. Герцог Луи де Бресе был моим прапрадедом. Я очень щепетилен в вопросах чести. Надеюсь, вы меня за это не осудите.

– Из приведенных вами фактов можно, ваша светлость, извлечь чрезвычайно поучительный и весьма утешительный вывод, – Сказал аббат Гитрель. – Они приводят нас к убеждению, что Франция, впавшая в восемнадцатом веке в неверие до самих верхов и настолько зараженная

нечестием, что даже такие почтенные люди, как ваш прапрадед, предавались ложной философии, – что Франция, говорю я, наказанная за свои грехи ужасной революцией, последствия которой чувствуются и поныне, уже обращается к раскаянию и переживает возрождение веры во всех классах нации и особенно в самых высших классах. Пример, подаваемый вами, герцог, не пропадет даром; тогда как восемнадцатое столетие в целом может быть сочтено за век греха, девятнадцатое столетие, если бросить на него общий взгляд, следует, мне кажется, назвать веком покаянного искупления.

– Дай бог, чтобы вы были правы, – вздохнул г-н Лерон. – Но не смею надеяться. Сталкиваясь, по своей юридической профессии, с народной массой, я наблюдаю в ней равнодушие или даже враждебность к религии. Простите меня, господин аббат, но мой житейский опыт побуждает меня скорее разделять глубокую грусть аббата Лантеня, чем ваш оптимизм. Да и зачем далеко ходить: разве вы не видите, что над христианской землей Бресе владычествуется доктор Котар, атеист и франкмасон?

– А почему знать, – сказал генерал, – не победит ли господин де Бресе доктора Котара на следующих выборах? Мне передавали, что борьба возможна и что довольно большое число избирателей склонно голосовать за замок.

– Мое решение непоколебимо, – возразил г-н де Бресе. – Ничто не заставит меня изменить его. Я не выставлю своей кандидатуры. Для того чтобы представлять бресейских избирателей, ни я не гоюсь бресейским избирателям, ни бресейские избиратели мне не годятся.

После провала на выборах эта тирада была ему подсказана его секретарем г-ном Лакрисом, и с тех пор герцогу нравилось повторять ее при всяком удобном случае.

В этот момент герцог и его гости увидели трех дам, которые, спустившись с крыльца, приближались к ним по главной аллее парка.

То были три дамы де Бресе, мать, супруга и дочь теперешнего герцога, высокие, массивные, с гладко зачесанными невьющимися волосами, с загорелыми веснушчатými лицами, в черных шерстяных платьях и грубых башмаках. Они направлялись в часовню Бельфейской божьей матери, расположенную у источника на полдороге между поселком и замком.

Генерал предложил сопровождать дам.

– Отличная мысль, – сказал г-н Лерон.

– Безусловно, – поддержал его аббат Гитрель, – тем более, что святилище, реставрированное попечениями его светлости, поистине великолепно.

Аббат питал особое пристрастие к часовне Бельфейской божьей матери. Он изложил ее историю в душеспасительно-археологической брошюре для привлечения богомольцев. Основание святилища относилось, по его данным, к царствованию Клотария II.^[7] «В ту эпоху, – повествовал историк, – святой Аустрегисил, обремененный годами и трудами, изможденный апостольским подвижничеством, своими руками построил себе хижину в этом пустынном месте, дабы в благоговейном созерцании дожидаться часа блаженной кончины, а также возвел часовню для чудотворной статуи пресвятой девы». Это утверждение пылко оспаривалось в «Маяке» г-ном Мазюром. Департаментский архивариус стоял на том, что культ Марии возник гораздо позднее VI века и что в эпоху, к которой приурочивают существование Аустрегисила, еще не было статуй богородицы. На это господин Гитрель отвечал в «Религиозной неделе», что даже друиды еще до рождества Христова почитали изображения богородицы, которой только предстояло зачать, и что таким образом на нашей древней земле, где почитанию святой девы предначертано было расцвести с особенной пышностью, у Марии еще до появления ее на свет были свои алтари и изображения, основанные, так сказать, на пророчествах, подобных предсказаниям сивилл; а следовательно, нечего удивляться тому, что у св. Аустрегисила, современника Клотария II, была статуя святой девы. Г-н Мазюр назвал аргументы аббата Гитреля бреднями. Никто, впрочем, не читал этой полемики, кроме г-на Бержере, который интересовался всем.

«Святилище, сооруженное св. апостолом, – писал далее в своей брошюре аббат Гитрель, – было перестроено с большим благолепием в XIII столетии. Во времена религиозных войн, опустошивших страну в XVI веке, протестанты сожгли часовню, но не смогли уничтожить статую, которая чудом уцелела среди пламени. Святыня была восстановлена по желанию короля Людовика XIV и его набожной родительницы, но в эпоху террора разрушена до основания комиссарами Конвента, которые перенесли чудотворную статую вместе с прочим достоянием часовни во двор замка Бресе и сожгли на потешном костре. Только ступня божьей матери была, по счастью, спасена из пламени одной доброй крестьянкой, свято сохранившей ее под старым бельем на дне котла, где эта ступня и была обнаружена в 1815 году. Ее приделали к новой статуе, исполненной в Париже щедротами покойного герцога де Бресе». Далее аббат Гитрель перечислял чудеса, которые были сотворены начиная с VI века и по наши дни благодаря заступничеству Бельфейской божьей матери. Обычно ей молились об исцелении от простуды и легочных болезней, но аббат Гитрель

утверждал, что в 1871 году она отвратила от поселка и замка Бресе немецких солдат и чудесно исцелила от ран двух ардешцев, рядовых подвижной гвардии, которых направили в замок Бресе, отведенный в ту пору под госпиталь.

Они дошли до впадины узкой долины, где между мшистыми камнями струился ручей. Там, на фундаменте из песчаника, окруженная карликовыми дубами, высилась часовня Бельфейской божьей матери, недавно построенная по планам епархиального архитектора г-на Катрбарба в новомодном благолепном стиле, который высшее общество считало готическим.

– Эта часовня, – сказал аббат Гитрель, – сожженная в тысяча пятьсот пятьдесят девятом году кальвинистами и разоренная революционерами в тысяча семьсот девяносто третьем году, представляла лишь грудку развалин. Подобно новому Неемии^[8] герцог де Бресе недавно восстановил святилище. В этом году папа щедро снабдил молельню индульгенциями, вероятно с намерением оживить здесь культ приснодевы. Монсиньор Шарло сам приезжал для совершения святого таинства. И с тех пор паломники стекаются сюда толпами. Они приходят со всех концов епархии и даже из соседних епархий. Несомненно, что это рвение, этот приток богомольцев принесут благодать нашему краю. Мне самому выпало счастье привести к стопам Бельфейской богоматери несколько почтенных семейств из Тентельрийского предместья, и с дозволения герцога де Бресе я уже не раз служил обедню перед этим благословенным алтарем.

– Это правда, – отозвалась г-жа де Бресе. – Я вижу, что господин Гитрель проявляет больше внимания к нашей часовне, чем наш бресейский кюре.

– Ах, уж этот добрейший Травьес! – воскликнул герцог. – Он отличный священник, но страстный охотник. Только и думает о том, как бы пострелять куропаток. На днях, возвращаясь домой после соборования умирающего, он уложил три штуки.

– Теперь, господа, часовня видна сквозь оголенные ветви, – сказал аббат Гитрель, – а летом она прячется в густой зелени.

– Одной из причин, – заявил г-н де Бресе, – побудивших меня восстановить часовню Бельфейской божьей матери, был боевой клич нашего рода; как я доискался в своих архивах, он гласил: «Бресе и Матерь божья!»

– Любопытно, – заметил генерал Картье де Шальмо.

– Не правда ли? – оказала г-жа де Бресе.

В тот момент, когда дамы де Бресе вместе с г-ном Лероном переходили

через ручей по сельскому мосту, примыкавшему к площадке часовни, из зарослей по ту сторону рва выскользнула девочка лет тринадцати – четырнадцати, оборванная, с белесыми волосами и таким же лицом, взбежала по ступенькам и шмыгнула в молельню.

– Это Онорина, – сообщила г-жа де Бресе.

– Мне давно хотелось на нее посмотреть, – отвечал г-н Лерон. – Благодарю вас, сударыня, за то, что вы предоставили мне случай удовлетворить мое любопытство. О ней столько говорят.

– Действительно, – заметил генерал Картье де Шальмо, – эта юная девица была предметом настоящих изысканий.

– Господин де Гуле, – сказал аббат Гитрель, – усердно посещает Бельфейское святилище. Он проводит целые часы подле той, которую называет своей матерью.

– Мы очень любим господина де Гуле, – ответила г-жа де Бресе. – Как жаль, что он такого слабого здоровья!

– Увы! – подтвердил аббат Гитрель, – его силы слабеют о каждым днем.

– Ему следовало бы беречь себя, отдохнуть, – сказала г-жа де Бресе.

Да разве он может, сударыня! – ответил аббат Гитрель. – Епархиальное управление не дает ему ни минуты передышки.

Войдя в часовню, три дамы де Бресе, генерал, аббат Гитрель, г-н Лерон и г-н де Бресе увидели Онорину в экстазе у подножья алтаря.

Стоя на коленях, сложив руки и вытянув шею, девочка так и застыла. Уважая таинственное состояние, в котором она была застигнута, все молча увлажнили чело святой водой и стали медленно переводить взгляды с готического дарохранилища на витражи, где были изображены св. Генрих с чертами графа Шамбора, св. Иоанн Креститель и св. Гвидон, чьи лики были написаны по фотографиям графа Жана, скончавшегося в 1867 году, и покойного графа Ги, члена Бордоского собрания 1871 года.

Статуя Бельфейской божьей матери, возвышавшаяся над алтарем, была прикрыта фатой. Но по левую сторону от алтаря, над кропильницей, на фоне стены, расцвеченной пестрыми красками, стояла во всем блеске статуя Лурдской божьей матери, опоясанная голубым шарфом.

Генерал обратил на нее почтительный взор, в котором сказывалась пятидесятилетняя привычка к субординации, и взглянул на шарф, словно то был флаг дружественной державы. Он всю жизнь был спиритуалистом; веру в будущую жизнь он почитал основой воинской службы, возраст и болезнь сделали его набожным, и он усердно посещал церковную службу. Уже несколько дней, не показывая виду, он чувствовал смятение или, по

меньшей мере, уныние, навеянное последними скандалами. Его прямодушие было напугано этим ураганом речей и страстей. Он мысленно обратился с молитвой к Лурдской божьей матери, прося ее защитить французскую армию.

Теперь все, – и дамы, и герцог, и адвокат, и священник, – неотступно смотрели на продранные башмаки неподвижной Онорины. В серьезном, сосредоточенном, мрачном восхищении застыли они перед этой окостеневшей спиной дикой кошки. И г-н Лерон, мнивший себя наблюдателем, производил наблюдения. Наконец Онорина очнулась от экстаза. Встала, отвесила поклон алтарю, обернулась и, словно удивленная присутствием стольких лиц, остановилась, отстраняя руками волосы, спадавшие ей на глаза.

– Ну, как, милое дитя, видели вы на этот раз богородицу? – спросила г-жа де Бресе.

Онорина перестроила для ответа свой голос на тот взвизгивающий тон, в котором отвечала затверженные места на уроке катехизиса.

– Да, сударыня. Добрая мать божья побыла здесь довольно долго; затем она свернулась, как холст... а затем я уж больше ничего не видела.

– Она говорила с вами?

– Да, сударыня.

– Что же она вам сказала?

– Она сказала: «Дома много беды».

– Больше она ничего не говорила?

– Она сказала: «Много будет беды в деревнях с урожаем и скотом».

– А не говорила ли она, что надо быть умницей?

– «Надо усердно молиться», сказала она. А еще она сказала так: «Прощай. Дома много беды».

Слова девочки звенели среди величественной тишины.

– Святая дева была очень красива? – продолжала свои расспросы г-жа де Бресе.

– Да, сударыня, только ей не хватало одного глаза и одной щеки, – это потому, что я не домолилась.

– Была ли у нее на голове корона? – спросил г-н Лерон, который, будучи судейским, отличался любопытством и склонностью к расспросам.

Онорина замялась, опять напустила на себя угрюмость и ответила:

– Корона была подле ее головы.

– Направо или налево? – продолжал допрашивать г-н Лерон.

– Направо и налево, – отозвалась Онорина.

Госпожа де Бресе пришла ей на помощь:

– Вы, вероятно, хотите сказать, дитя мое: то направо, то налево. Не правда ли?

Но Онорина не ответила.

Она иногда замыкалась в какое-то дикое молчание, опускала глаза, терлась подбородком о плечо и поводила бедрами. Ее перестали расспрашивать. Она выскользнула из часовни, а г-н де Бресе стал давать разъяснения.

Онорина Порише, дочь земледельцев, издавна основавшихся в Бресе и впавших в горькую нищету, была в детстве болезненным ребенком. Тупая и умственно недоразвитая, она сперва слыла слабоумной. Священник ставил ей в упрек ее дикий нрав и привычку прятаться в лесах. Он не питал к ней расположения. Но просвещенные духовные лица, видевшие ее и беседовавшие с ней, не нашли в ней ничего дурного. Она посещала церкви и погружалась там в состояние глубокого раздумья, не свойственное ее возрасту. Перед первым Причастием она стала еще набожнее. В это время она заболела горловой чахоткой, и врачи отчаялись в ее выздоровлении. Доктор Котар тоже считал ее безнадежной. После освящения часовни Бельфейской божьей матери монсиньором Шарло Онорина стала усердно посещать ее. Там она впадала в экстаз, и у нее были видения. Ей явилась св. дева, которая сказала: «Я Бельфейская божья мать». Однажды Мария приблизилась к ней, прикоснулась к ее горлу и объявила ей, что она исцелилась.

– Онорина, – добавил г-н де Бресе, – сама рассказала об этом необыкновенном факте. Она повторила это несколько раз с полным простодушием. Некоторые утверждают, что она меняла свои показания. Но эти расхождения безусловно касаются только второстепенных подробностей. Совершенно несомненно то, что она внезапно избавилась от недуга, который ее изнурял. После чудесного явления святой девы врачи исследовали и выслушали Онорину и не обнаружили никаких ненормальностей ни в бронхах, ни в легких. Даже сам доктор Котар признался, что ничего не понимает в таком выздоровлении.

– Что вы думаете об этих фактах? – спросил у аббата Гитреля г-н Лерон.

– Они достойны всяческого внимания, – отвечал священник. – Они наводят непредвзятого наблюдателя на всякого рода мысли. Их надо основательно изучить. Большого я сказать не могу. Я не стану, конечно, подобно господину Лантеню, дерзко и презрительно отметать столь интересные, столь утешительные явления. Но я не позволю себе также назвать их чудесами, как это делает господин де Гуле. Я воздерживаюсь.

– В истории юной Онорины Порише, – сказал г-н де Бресе, следует отметить, с одной стороны, действительно необыкновенное исцеление, которое, осмелюсь сказать, противоречит самой медицине, и, с другой стороны, – видения, которые, по словам Онорины, ниспосланы ей свыше. А вы, конечно, знаете, господин аббат, что глаза этой девушки были сфотографированы во время одного из видений; снимок, полученный фотографом, человеком вполне добропорядочным, воспроизводил изображение богоматери, запечатлевшееся в зрачке у ясновидицы. Солидные лица утверждают, что видели эту фотографию и разглядели на ней при помощи сильной лупы статую Бельфейской божьей матери.

– Эти факты достойны внимания, – ответил аббат Гитрель, – они достойны самого сугубого внимания. Но следует избегать поспешных суждений и преждевременных выводов. Не будем подражать маловерам, которые торопятся делать заключения по подсказке своих страстей. Церковь очень осторожна в вопросе о чудесах. Она требует доказательств, неопровержимых доказательств.

Господин Лерон осведомился о возможности достать фотографию, на которой запечатлелось изображение пресвятой девы в зрачке Онорины Порише, и г-н де Бресе обещал написать по этому поводу фотографу, державшему мастерскую в городе, помнится, на площади св. Экзюпера.

– Что бы там ни было, – заметила г-жа де Бресе, – эта маленькая Онорина очень порядочная, очень нравственная девочка, и только благодаря благословию свыше, потому что ее родители, которых донимают нужда и болезни, совсем ее забросили. Я удостоверилась, что она ведет себя хорошо.

– А это далеко не всегда свойственно девочкам ее возраста в деревне, – добавила вдовствующая герцогиня де Бресе.

– К сожалению, это более чем верно, – отозвался г-н де Бресе. – В земледельческих классах нравственность падает все ниже и ниже. Я расскажу вам, генерал, потрясающие случаи. Но Онорина – сама невинность.

Пока эта беседа велась на паперти, часовни, Онорина разыскала Изидора в гершийских зарослях. Изидор ждал ее там на ворохе листьев. Он ждал с нетерпением, так как рассчитывал, что она принесет ему что-нибудь съестное или несколько су, но он ждал ее и просто из любви к ней, потому что был ее сердечным дружкой. Он-то и предупредил Онорину, чтобы она побежала в часовню и впала в экстаз, как только завидел дам и господ из замка, направлявшихся к Бельфейской божьей матери.

Он спросил:

– Что они тебе дали? Покажи-ка?

А так как она не принесла ничего, то он прибил ее, впрочем не больно. Она исцарапала его и укусила. Затем она сказала:

– Ну, к чему это?

Он ответил:

– Поклянись, что тебе ничего не дали!

Она поклялась. И высосав кровь, выступившую на их тощих руках, они помирились. А так как у них иных развлечений и удовольствий не было, то они и обратились к тем, какие могли доставить друг другу. У Изидора, сына распутной женщины, предавшейся пьянству, не было отца. Он проводил жизнь в лесу. Никто о нем не заботился. Хотя он был на два года моложе Онорины, но уже давно приобрел навык в любовных делах. И это было единственное, в чем он никогда не терпел недоботатка под деревьями Герши, Ленонвиля и Бресе. С Онориной он забавлялся только от безделья, за неимением другого занятия. Онорина проявляла иногда больше темперамента. Но и она не придавала особого значения таким обыденным и пустым делам. Достаточно было появления кролика, птицы, большого насекомого, чтоб ее отвлечь.

* * *

Г-н де Бресе вернулся с гостями в замок. На холодных стенах вестибюля топорщились олени череп, олени рога. Головы молодых и старых оленей, препарированные чучельниками и изъеденные молью, все еще, казалось, выражали ужас затравленного зверя, и эмалевые глаза как будто источали смертную влагу, похожую на слезы. Рога и отростки рогов, побелевшие кости, отрезанные головы, кабаньи морды, – все это были трофеи, которыми жертвы прославляли своих именитых убийц – французских дворян, неаполитанских и испанских Бурбонов. Под монументальной лестницей была задвинута коляска-амфибия, со съемным кузовом в форме лодки, который мог служить во время охоты для переправы через реки. Коляска пользовалась большим почетом за то, что в былые дни возила изгнанных королей.

Аббат Гитрель бережно поставил свой простой старомодный зонт под черную морду огромного кабана и, пройдя первым в левую дверь между двумя вычурными кариатидами Дюсерсо,^[9] вошел в гостиную, где три дамы де Бресе, уже успевшие возвратиться в замок, сидели с г-жой де Куртре, своей соседкой и приятельницей.

Одетые во все черное из-за непрерывного траура то по кому-либо из родных, то по какой-либо августейшей особе, простые в обращении, похожие с виду на скромных помещиц, или на монахинь, эти дамы вели беседу о браках и смертях, о болезнях и лекарствах. На сильно почерневшей росписи потолка и панелей здесь и там выглядывали то седая борода Генриха IV, которого держала в объятиях полногрудая Минерва, то бледный лик Людовика XIII, стиснутого между фламандскими боками Победы и Милосердия в развевающихся туниках, то кирпичнокрасная нагота старца Хроноса, заботливо оберегающего лилии, и везде и повсюду пухлые в ямочках тельца маленьких амуров, поддерживающих гербовый щит Бресе с тремя золотыми факелами.

Вдовствующая герцогиня де Бресе вязала из черной шерсти косынки для сироток. Это вязанье непрестанно давало работу ее рукам и утеху ее сердцу с тех отдаленных времен, как она выстегала одеяло, под которым должен был почивать в Шамборе король.

На консолях, на столах было расставлено множество фотографий в рамках всевозможных расцветок и форм, плюшевых, хрустальных, никелевых, фарфоровых, шагреновых, из резного дерева и из тисненой кожи. Были там позолоченные рамки, – и в виде подковы, и в виде палитры с красками и кистями, и в виде каштанового листа или бабочки. А из этих рамок глядели женщины, мужчины, дети, родственники или свойственники, представители Бурбонской династии, прелаты, граф Шамбор и папа Пий IX. Направо от камина, на старинной консоли, поддерживаемой позолоченными турками, монсеньор Шарло, словно духовный отец, улыбался во все свое широкое лицо молодым военным, теснившимся вокруг него, – офицерам, унтер-офицерам, простым солдатам, носившим на голове, на шее и на груди все те воинские украшения, которые демократическая армия еще оставила своей кавалерии. Он улыбался юношам в велосипедных костюмах или в костюмах для игры в поло; он улыбался девушкам. Всюду, даже на передвижных столиках, стояли портреты дам всех возрастов; у некоторых были резкие, почти мужские черты лица, две или три были очаровательны.

– О! Госпожа де Куртре! – воскликнул г-н де Бресе, входя вслед за генералом. – Здравствуйте, сударыня!

И, возобновляя в углу просторной гостиной разговор, начатый в парке с г-ном Лероном, он продолжал:

– В конечном счете у нас осталась только армия. Только она одна уцелела из всего того, что некогда составляло силу и величие Франции. Парламентская республика расштатала государственное управление,

скомпрометировала судебную власть, развратила общественные нравы. Только армия устояла на этих развалинах. И посягать на нее, по-моему, кощунство.

Он замолк. Не умея вдаваться в суть вопросов, он обычно ограничивался общими фразами. Благородство его образа мыслей было неоспоримо.

Госпожа де Куртре, перед тем погруженная в рассуждения о целебных отварах, подняла голову и повернула к нему свое лицо, напомилавшее физиономию старого лесного сторожа.

– Надеюсь, вы уведомили эту газету, стакнувшуюся с врагами армии и отечества, о том, что вы больше на нее не подписываетесь. Муж отослал в редакцию номер, где напечатана статья... ну, вы знаете... эта гнусная статья...

– Мой племянник, – ответил г-н де Бресе, – пишет мне, что у него в клубе вывесили обращение, предлагающее всем членам клуба не абонироваться больше на эту газету, – и под ним уже имеется множество подписей. Присоединились почти все члены, оставляя за собой лишь право покупать газету в розницу.

– Армия стоит выше всяких нападков, – заявил г-н Лерон.

Генерал Картье де Шальмо нарушил свое молчание:

– Рад слышать это от вас. Если бы вам пришлось пожить, подобно мне, среди солдат, вы были бы приятно изумлены выносливостью, дисциплинированностью, усердием и бодрым настроением, благодаря которым наш рядовой является первоклассным тактическим оружием. Я не устану повторять: такие войсковые части всегда будут на высоте любой задачи. Как командир, достигший конца своей карьеры, я позволю себе решительно заявить, что по своему воинскому духу французская армия заслуживает всяческих похвал. Надо отдать должное и настойчивому рвению, с каким некоторые выдающиеся лица высшего командования занимались организацией армии; и, смею заверить, их усилия увенчались блестящими успехами.

Он понизил голос и продолжал еще более внушительно: – Мне остается только высказать ту истину, что в отношении людского состава качество предпочтительнее количества и надо делать упор на формирование отборных частей. Я уверен, что ни один великий полководец не станет оспаривать этих утверждений. Мой воинский завет выражается в следующей формуле: «Количество – это ничто. Качество – это все». Добавлю еще, что армии необходимо единство командования и что этот огромный организм должен повиноваться единой, верховной, непреложной

воле.

Он умолк. Его бесцветные глаза были подернуты слезами. Смутные, невыразимые чувства овладели душой этого честного и простосердечного старца, некогда красивейшего капитана императорской гвардии, теперь больного, дряхлого, затерявшегося, как в лесу, среди нового военного мира, которого он не понимал.

А г-жа де Куртре, не выносившая теорий, бросила на него свой характерный взгляд, придававший ей сходство с угрюмым стариком.

– Но, генерал, если армия, слава богу, пользуется всеобщим уважением, если она единственная сила, вокруг которой мы все сплотились, то почему бы ей не завладеть государственной властью? Разве нельзя послать полковника с полком в Бурбонский дворец и в Елисейский?...

Но, заметив, что чело генерала омрачилось, она умолкла.

* * *

Герцог жестом пригласил г-на Лерона проследовать за ним в библиотеку.

– Вы еще не видели библиотеки, господин Лерон? Я вам ее покажу. Вы любите старинные книги. Я уверен, что она вас заинтересует.

Они прошли по обширной пустой галерее, потолок которой был расписан тяжеловесной живописью, изображавшей победу Аполлона и Людовика XIII над врагами королевства в образе фурий и гидр. Г-н де Бресе провел адвоката конгрегации в залу, где в 1705 году, уже на исходе жизни и благосостояния, герцог Ги, маршал Франции, губернатор провинции, поместил библиотеку.

Эта квадратная зала занимала весь нижний этаж западного крыла и освещалась с севера, с запада и с юга тремя незанавешенными окнами, откуда открывались три светлых, прелестных и великолепных вида: на юге – лужайка, мраморная ваза с двумя дикими голубями, деревья парка, оголенные зимней стужей, и в глубине пурпурной аллеи – бассейн Галатеи с белыми статуями; на западе – низина, и над ней простор небес и солнце, словно лучезарное золотое мифологическое яйцо,^[10] расколотое и пролившееся на облака; на севере – озаренные более четким, холодным светом отлогие пашни, лиловая земля, далекий дымок над аспидными кровлями Бресе, тонкая игла колокольни при маленькой церковке.

Стол в стиле Людовика XIV, два кресла, глобус XVIII века с розой

ветров на необследованных пространствах Тихого океана составляли всю меблировку этой строгой комнаты. Забранные решетками шкафы закрывали стены до самого потолка. Полки, выкрашенные в серый цвет, возвышались даже над камином из черно-зеленого серпантина. А за решетками из золоченой медной проволоки виднелись корешки старинных фолиантов с тисненными виньетками.

– Основание библиотеке положил маршал, – сказал г-н де Бресе. – Его внук герцог Жан значительно обогатил ее при Людовике Шестнадцатом, и он-то обставил ее так, как вы теперь видите. С тех пор в ней почти ничего не переделывали.

– У вас есть каталог? – спросил г-н Лерон.

Герцог ответил, что каталога нет и что у него никогда не было времени заняться этим вопросом, хотя г-н де Термондр, большой любитель старинных книг, настойчиво уговаривал его заказать каталог.

Он отворил один из шкафов, и г-н Лерон вынул оттуда поочередно несколько томов разных размеров: в восьмую, в четвертую долю листа, а той в целый лист. Они были переплетены в кожу, «под мрамор», «под дерево», «под гранит», в пергамент, в красный и синий сафьян, – и у всех на крышках был герб с тремя факелами, увенчанный герцогской короной.

Господин Лерон не был утонченным библиофилом; тем не менее он пришел в восторг, когда наткнулся на великолепно переписанную рукопись «Королевской десятины», преподнесенную маршалу самим Вобаном.^[11]

Рукопись была украшена фронтисписом, а также несколькими виньетками и концовками.

– Это рисунки от руки? – спросил г-н Лерон.

– Вероятно, – отвечал г-н де Бресе.

– Они подписные, – заметил г-н Лерон. – Мне кажется, что я разобрал имя Себастиана Леклерка.^[12]

– Весьма возможно, – подтвердил герцог.

Господин Лерон заметил в этих богатых шкафах сочинения Тинемона по римской истории и по истории церкви, «Свод обычного права» местной провинции, бесчисленные «Трактаты» средневековых законоведов. Он перебрал труды, посвященные богословию, церковной полемике, житиям святых, объемистые родословные, старинные издания греческих и латинских классиков и еще огромные книги, размером больше географических атласов, описывающие бракосочетание короля, торжественный въезд короля в Париж, празднества по случаю исцеления короля и по случаю его побед.

– Это наиболее старый фонд библиотеки, приобретенный еще маршалом, – объяснил г-н де Бресе. – А вот, – добавил он, открывая два-три других шкафа, – приобретения герцога Жана.

– Министра Людовика Шестнадцатого, «доброго герцога», как его называли? – спросил г-н Лерон.

– Да, – ответил г-н де Бресе.

Собрание герцога Жана покрывало всю стену около камина и всю стену со стороны поля и поселка. Г-н Лерон прочел вслух заглавия, оттиснутые золотом на богатых корешках, между двумя выпуклыми прожилками: «Методическая энциклопедия», сочинения Руссо, аббата Мабли, Кондильяка, «История европейских учреждений в Индии» Ренала. Затем он перелистал украшенные виньетками книжки малых поэтов и новеллистов – Грекура, Дора, Сен-Ламбера, «Декамерон» с иллюстрациями Марийе, сочинения Лафонтена в издании генеральных откупщиков.

– Гравюры несколько нескромны, – сказал г-н де Бресе. – Некоторые сочинения той же эпохи мне пришлось изъять, так как рисунки были совершенно зазорны.

Рядом с этими фривольными книгами г-н Лерон обнаружил большое количество трудов по политике и философии, трактаты о рабстве, описания «Войны американских повстанцев». Он раскрыл «Обеты отшельника» и увидел, что поля были густо покрыты заметками, написанными рукою герцога Жана. Он прочел вслух одну из них:

«Автор прав: люди от природы добры. А дурными делают их ложные принципы общества».

– Вот, что писал ваш прапрадед в тысяча семьсот девяностом году! – добавил он.

– Интересно, – сказал г-н де Бресе, ставя книгу обратно на полку.

Затем он открыл шкаф, помещавшийся на северной стене.

– Здесь книги моего деда, бывшего пажем Карла Десятого.

Господину Лерону бросились в глаза переплетенные в темный сафьян, в бурую телячью кожу, в черную полушагрень «Сочинения Шатобриана», собрание «Мемуаров эпохи Революции», «Истории», составленные д'Анкетилем, Гизо, Огюстеном Тъери, «Курс литературы» Лагарпа, «Поэтическая Галлия» Маршанжи, «Речи» г-на Лэне.

Помимо этой литературы времен Реставрации и июльского правительства, валялись на полках две-три зачитанные брошюры, посвященные Пию IX и светской власти, два-три изодранных романа, панегирик Жанне д'Арк, произнесенный монсеньором Шарло в церкви св. Экзюпера 8 июня 1890 года, и несколько книжек благочестивого

содержания для светских дам. То был весь вклад покойного герцога, члена Национального собрания 1871 года, и теперешнего герцога де Бресе в библиотеку, основанную маршалом в 1705 году.

– Позвольте, я запру шкафы, – сказал г-н де Бресе. – Надо быть осторожным: мои сыновья теперь уже взрослые мальчики. Им легко может прийти фантазия порыться в библиотеке. А там есть книги, которые не должны попадаться в руки ни молодому человеку, ни уважающей себя женщине... независимо от возраста.

И г-н де Бресе замкнул шкафы с благонамеренным усердием, приятно убежденный, что заточает сластолюбие, греховное сомнение, безбожие, дурные помыслы. Он испытывал гордую удовлетворенность от того, что запирает на замок всемирное зло. И если к этому чувству и примешивалась некоторая доля простодушного тщеславия и отчасти скрытая зависть невежды оно все же было безупречно и прекрасно.

Положив связку ключей в карман, герцог с довольным видом повернулся к г-ну Лерону.

– Над библиотекой, – сказал он, – находится «королевская комната». Старинные инвентари называют так весь верхний этаж. В той же комнате, где действительно ночевал Людовик Тринадцатый, стоит его постель, покрытая старинным одеялом с шелковой вышивкой, сохранившимся с тех времен. На эту комнату стоит взглянуть.

Господин Лерон падал от усталости. Его ноги, годами сгибавшиеся под письменным столом, не выдержали ходьбы по тучному грунту парка, топтания по конюшням, лесного паломничества к Бельфейской божьей матери, – они отекали и ослабели, а ступни ныли от жара и боли, так как адвокат конгрегации, на свою беду, надел для корректности лакированные ботинки. Он с отчаянием взглянул на потолок и пробормотал:

– Становится поздно. Не пора ли вернуться к дамам?

Господин де Бресе был непреклонен только при осмотре конюшни. В отношении же остальных достопримечательностей владелец замка был гораздо сговорчивей.

– Действительно темнеет, – сказал он. – Отложим это до другого раза. Направо, господин Лерон, пожалуйста, направо.

В проеме двери бывший помощник прокурора воскликнул:

– Какие стены, ваша светлость, какие стены! Вот так толщина!

Его худое лицо, сохранявшее спокойствие и равнодушие перед охотничьими трофеями вестибюля, перед исторической живописью гостиной, перед роскошными шпалерами, перед великолепным потолком галереи, перед чудесными книгами в тисненном сафьяне, – теперь

оживилось, озарилось, восхищенно засияло. Г-н Лерон наткнулся, наконец, на объект, достойный удивления и восторга, раздумья и морального удовлетворения, – на стену! Его судейское сердце, разбитое во цвете лет, одновременно с его карьерой, вступившими в силу «Декретами», его душа, преждевременно лишенная наслаждения карать, ликовали при виде стены, этого глухого, немного и мрачного сооружения, навевавшего ему восторженные мысли о тюрьме, о карцере, о наказаниях, о социальном возмездии, о своде законов, правосудии, о морали, – одним словом, стены!

– Действительно, стена между галереей и крылом необычайно толста, – подтвердил г-н де Бресе. – Это была внешняя стена первоначального здания замка, построенного в тысяча четыреста пятом году.

Господин Лерон созерцал стену, измерял ее глазами, ощупывал пожелтевшими, крючковатыми пальцами, изучал ее, чтил, обожал, упивался ею.

Войдя в гостиную, г-н Лерон сказал дамам де Бресе:

– Сударыни, я осмотрел достопримечательную библиотеку, которую герцог соблаговолил мне показать. По пути я видел удивительную стену, отделяющую крыло от галереи. Не думаю, чтобы даже в Шамборе нашлось что-либо подобное.

Но ни дамы де Бресе, ни г-жа де Куртре не слушали его. Они были поглощены и взволнованы единой мыслью.

– Жан, – воскликнула г-жа де Бресе, обращаясь к мужу, – Жан, посмотрите!

И она показала ему футляр из красной шагрени, лежащий на столике об одной ножке, около лампы, которую только что принесли. Футляр был в виде шара, увенчанного чем-то вроде наперстка, а спереди украшенного рельефным трилистником. Рядом лежала визитная карточка. На полу у столика, словно белые собачки с голубыми бантами, сгрудились комки папиросной бумаги.

– Жан, посмотрите же!

Аббат Гитрель, стоявший подле столика, почтительно открыл футляр, в котором оказалась золотая дароносица.

– Кто это прислал? – спросил г-н де Бресе.

– Взгляните на карточку... Мне ужасно неприятно. Не знаю, как быть.

Господин де Бресе взял карточку, вставил в глаз монокль и прочел:

Бельфейской божьей матери.

Он положил карточку на стол, спрятал монокль в карман и пробормотал:

– Очень досадно!

– Дароносица чудесная, – сказал аббат Гитрель.

– Когда я в детстве пел на клиросе, – промолвил генерал, – то святые отцы называли такие сосуды дарохранительницами.

– Да, верно, дароносица или дарохранительница, – ответил аббат Гитрель, – так именуют сосуды, где хранятся святые дары. Но у дарохранительницы цилиндрическая форма и коническая крышка.

Господин де Бресе пребывал в задумчивости, большая мрачная складка пересекала его лоб.

– И зачем только госпожа де Бонмон, эта еврейка, подносит дароносицу Бельфейской божьей матери? Что за зуд у этих иудеев соваться в наши церкви!

Аббат Гитрель, спрятав пальцы в рукава, произнес кротким голосом:

– Разрешите мне заметить, ваша светлость, что баронесса де Бонмон католичка.

– Полноте, – воскликнул г-н де Бресе. – Она австрийская еврейка, урожденная Вальштейн. Настоящая фамилия ее мужа, барона де Бонмон, – Гутенберг.

– Позвольте, ваша светлость, – возразил аббат Гитрель, – я не отрицаю, что баронесса де Бонмон по происхождению еврейка. Я только позволю себе указать, что, обратившись в новую веру и приняв крещение, она стала христианкой, и скажу даже – достойной христианкой. Она не перестает жертвовать на католические богоугодные заведения и подает пример щед...

Герцог прервал его:

– Я знаю ваши воззрения, господин аббат. Я уважаю их, как уважаю ваше звание. Но для меня крещеный еврей – это все тот же еврей. Я не делаю между ними различия.

– Я тоже, – сказала г-жа де Бресе.

– Ваши чувства, герцогиня, в некотором смысле вполне законны, – продолжал аббат Гитрель. – Но вам, конечно, не безызвестно, чему учит нас церковь, а именно: божье проклятие, клеймящее евреев, относится только к их прегрешениям, а и в к их расе, и последствия этого осуждения не могут пасть на...

– Какая тяжелая! – воскликнул г-н де Бресе, который, вынув

дароносицу из футляра, держал ее на весу.

– Я, право, очень расстроена, – сказала герцогиня де Бресе.

– Очень тяжелая, – повторил г-н де Бресе.

– И к тому же превосходной работы, – добавил аббат Гитрель. – Она отличается той печатью благородства, которая, так сказать, служит клеймом Рондоно-младшего. Только епархиальный ювелир и мог столь умело выбрать модель, согласно традициям христианского искусства и воспроизвести столь удачно и точно форму и орнаментику. Эта дароносица – выдающийся шедевр в стиле тринадцатого века.

– Потир и крышка из массивного золота, – сказал г-н де Бресе.

– По канонам литургии, – объяснил аббат Гитрель, – чаша дароносицы должна быть золотая или по крайней мере серебряная, вызолоченная изнутри.

Господин де Бресе перевернул сосуд вверх дном.

– Ножка полая, – сказал он.

– Хоть это утешительно, – воскликнула герцогиня.

Аббат Гитрель взглянул пристально на произведение Рондоно-младшего.

– Будьте уверены, – сказал он, – что и это тоже соответствует стилю тринадцатого века. Да и трудно было выбрать что-либо лучшее. Тринадцатое столетие – золотой век церковного ювелирного искусства. В ту эпоху дароносице придавали очень удачную форму граната, как вы и видите на этом образце. Широкую, неутончающуюся ножку украшали эмалью и драгоценными камнями.

– Господи! драгоценными камнями! – воскликнула герцогиня.

– Ангелы, пророки тончайшей работы вычеканены в ромбоидальных медальонах и производят самое приятное впечатление.

– Мошенник он был, этот Бонмон, – вдруг выпалила г-жа де Куртре. – Он был вором, и жена его не возместила краденого.

– Как видите, она начинает возмещать, – отозвался г-н де Бресе, указывая пальцем на сверкающую дароносицу.

– Как быть? – спросила супруга герцога.

– Не можем же мы отослать ей обратно подарок, – отвечал г-н де Бресе.

– Почему? – спросила вдовствующая герцогиня.

– Это невозможно, мама.

– Значит, придется его оставить? – сказала г-жа де Бресе.

– Гм!.. Да...

– И поблагодарить ее?

– Повидимому.
– А вы как думаете, генерал?
– Было бы предпочтительнее, – ответил генерал, – чтобы эта дама, поскольку она с вами незнакома, воздержалась от поднесения вам подарков. Но нет оснований отвечать оскорблением на ее любезность. Это очевидно.
Аббат взял дароносицу в свои пастырские руки, приподнял ее и сказал:
– Бельфейская божья мать – я в этом уверен – взглянет благосклонными очами на этот дар, предназначенный благочестивой душой для скинии ее алтаря.
– Но, чорт возьми, – сказал г-н де Бресе, – в данном случае Бельфейская божья мать – это я! Если госпожа де Бонмон и ее сынок пожелают получить от меня приглашение, – а они этого наверняка пожелают, – то я буду обязан их принять.

III

Спасаясь от внезапного дождя, настигшего их перед рвом замка, г-жа де Бонмон и г-жа д'Орта добежали по обходной дороге до низкого сводчатого портала, на замковом камне которого виднелся герб с павлином угасшего рода де Пав. Г-н де Термондр и барон Вальштейн присоединились к ним. Все четверо долго не могли отдышаться.

– А где аббат? – спросила г-жа де Бонмон. – Артур, ты оставил аббата в буковой аллее?

Барон Вальштейн ответил сестре, что аббат идет следом за ними.

И вскоре они увидели аббата Гитреля, промокшего, но хладнокровно поднимавшегося по каменным ступеням. В этой суматохе он один сохранил полное достоинство и проявил спокойствие, подобавшее его сану и дородности, заранее обнаружив внушительность поистине епископскую.

Госпожа де Бонмон, розовая от ходьбы, с пышной грудью, вздымающейся под светлым лифом, оправила спереди юбку, обтянув при этом свои крутые бедра; с развевающимися волосами, ясным взглядом, влажными губами, словно олицетворяя какую-нибудь зрелую венскую Эригону,^[13] она производила впечатление прелестной грозди винограда, налившейся соком и золотистой.

Она спросила несколько густым голосом, не таким пленительным, как ее рот:

– Промокли, господин аббат?

Аббат Гитрель снял широкополую шляпу, пыльный ворс которой был

усеян черными точками от дождя, обозрел серыми глазками запыхавшуюся группу, которая испуганно бежала от нескольких капель воды, и сказал не без добродушного лукавства:

– Я намок, но не запыхался.

И добавил:

– Совсем безобидный дождик, насквозь не промочил.

– Пойдемте наверх, – пригласила г-жа де Бонмон.

Она была у себя дома в этом замке Монтиль, который Бернарде Пав, генерал-фельдцейхмейстер, выстроил в 1508 году для Николеты де Восель, своей четвертой жены.

«Род де Пав процветал девятьсот лет» – повествует Перен дю Вердье в первом томе своей «Сокровищницы родословных». – «И с этим домом породнились все владетельные династии Европы, а именно: короли испанские, английские, сицилийские и иерусалимские, герцоги Бретонские, Алансонские, Вандомские и прочие, а равно и семейства Орсини, Колонна и Корнаро». И Перен дю Вердье многословно распространяется о доблестях «столь именитого рода», давшего церкви восемнадцать кардиналов и двух пап, французской короне – трех коннетаблей, шесть маршалов и одну королевскую фаворитку.

В Монтильских долинах, начиная с царствования Людовика XII и до революции, была резиденция главных представителей старшей линии де Пав, угасшей в 1795 году, в лице Филиппа VIII, князя де Пав, владельца земель Монтиль, Тоше, ле Пон, Ружен, Виктоар, Бэрлог и прочих мест, знатнейшего королевского приближенного, скончавшегося эмигрантом в Лондоне, где он подвизался в качестве брадобрея в деревянном домишке на Уайт-Кросс-стрит. Его земли, которые он забросил, были проданы во время Директории как национальное имущество и перешли отдельными участками к крестьянам, ставшим родоначальниками буржуазных семейств. Черная банда,^[14] приобретшая замок за пригоршню ассигнаций, принялась было сносить его. Но работы были прерваны после разрушения Галереи фавнов и больше не возобновлялись. В течение двух лет местные жители растаскивали для собственных надобностей свинцовые листы с крыши. В 1815 году г-н де Ре, бывший офицер королевского флота, тайный агент герцога Прованского в Голландии и, как говорили, сообщник Жоржа^[15] в покушении на улице Сен-Никез, решил скоротать остаток жизни в родных местах и за несколько сот экю, выклянченные у неблагодарного принца, купил эти разрушенные стены, ставшие пристанищем для его угрюмой нищеты и чуть было не обвалившиеся на

него и на его одиннадцать детей, как законных, так и незаконных. После смерти г-на де Ре там проживала его дочь, старая дева, сушившая сливы в покоях славы и великолепия. В одно зимнее утро 1875 года мадемуазель Ре, в возрасте девяноста трех лет, была найдена мертвой на дырявом и гнилом соломенном тюфяке в комнате, испещренной вензелями, девизами и эмблемами в честь Николеты де Восель.

В ту пору барон Жюль де Бонмон, сын Натана, сына Зелигмана, сына Симеона, выходец из Австрии, где он устраивал займы для несчастной империи, перенес место своих операций во Францию. Он предложил республике помощь своего финансового гения. Среди парламентских депутатов, склонных оценить его и полюбить, г-н Лапра-Теле, представлявший тогда в палате Монтильский округ, был одним из первых и наиболее надежных. Он сразу учел, что после эпохи принципов и периода борьбы наступила эра крупных дел. Проявив горячую симпатию к барону, он кое в чем оказал ему важные услуги, и тот охотно повторял: «Этот Лапра-Теле умный малый».

По совету Лапра-Теле барон Жюль купил Монтильский замок. То были величественные и очаровательные руины, которые можно было восстановить и содержать в порядке. Барон поручил реставрацию г-ну Катрбарбу, ученику Виоле ле Дюка, епархиальному архитектору, который убрал все старые камни и заменил их новыми. И в этом здании, сверкающем новизною, барон, удивляя политических деятелей художественным вкусом, немедленно разместил свои коллекции картин, мебели, оружия, составлявшие чудовищное богатство. Таким образом, Монтильский замок был, по выражению г-на де Термондра, «сохранен для ценителей нашего национального искусства и превращен в чудесный музей благодаря попечению и щедрости человека, совмещающего в себе и видного вельможу, и видного знатока искусств».

Однако не долго пришлось барону наслаждаться и гордиться Монтилем, его башнями, украшенными барельефами, его ажурной лестницей, его залами, отделанными изящной деревянной резьбой. Пережив золотой век деловых предприятий, он скончался от апоплексического удара накануне периода банкротств и скандалов. Он умер в расцвете богатства, оставив ослепительную, жизнерадостную вдову и малолетнего ребенка, походившего на него приземистым телом, бычьим лбом и уже беспощадной душой. Г-жа де Бонмон не рассталась с Монтилем, который пришелся ей по вкусу.

Баронесса пропустила вперед г-жу Орта по винтовой лестнице, каменный кружевной орнамент которой с щедрым изобилием повторял,

между завитками и перевивками, геральдического павлина Бернара де Пав, привязанного за ногу к лютне Николеты де Восель. Сама баронесса, подобрав юбки несколько резким, но не лишенным прелести жестом, тоже стала подниматься по лестничной спирали. Г-н де Термондр, председатель Археологического общества и бывший сердцеед, шел за ней и следил глазами за колебаниями ее соблазнительного стана.

В сорок лет она сохранила желание и способность нравиться. Г-н де Термондр ценил это, так как был светским человеком. Но он не делал никаких попыток добиться ее благосклонности, зная, что она питает глубокую привязанность к г-ну Раулю Марсьену, человеку очень красивому, но неистовому и стяжавшему дурную славу. Г-жа де Бонмон толкнула одну из дверей и сказала:

– Войдем в оружейную, она отапливается калорифером.

Оружейная действительно отапливалась калорифером, и между фаянсовыми изразцами с причудливыми изображениями, заимствованными г-ном Катрбарбом со старой, сорванной им обложки, зияли светлые медные жерла теплопроводных труб.

Госпожа де Бонмон позаботилась усадить аббата Гитреля над одной из этих отдушин и спросила его участливо, надел ли он по крайней мере непромокаемую обувь и не выпьет ли стакан пунша.

Эта огромная зала с ребристым сводом сверкала большим количеством доспехов, чем мадридская «Армерия».^[16] Благодаря двум-трем крупным спекуляциям финансист собрал здесь коллекцию оружия, которой позавидовал бы сам Шпитцер. Тут были представлены три века ратного снаряжения всех образцов, бывших в обиходе у европейских народов. На монументальном камине, охраняемом двумя брабантскими наемниками в блестящих набедренниках, видны были в профиль латы кондотьера верхом на конской броне с полным набором, состоявшим из налобника, железного наносника, назатыльника, нагрудника, вальтрапа и нахвостника. Сверху донизу стены были увешаны ослепительными доспехами: касками, наголовниками, саладами, морионами, шлемами с забралом, шлемами с бармицей и с личиной, бургундскими шлемами, железными колпаками, байданами, кольчугами, полулатами, поножами, батырликами, шпорами. Вокруг круглых щитов, прямоугольных щитов и тарчей блистали кончары, колишемарды, протазаны, совни, двулезвые копья, двуручные мечи, рапиры, длинные шпаги, кинжалы, стилеты и поясные ножи. Вдоль стен стояли ряды призраков, облаченных в потемневшую сталь, вороненую сталь, гравированную сталь, сталь с чернью, с чеканкой, с насечкой; Максимилиановские рубчатые и выпуклые кирасы, брони ребристые и

брони бочкообразные; «полишинель» Генриха III и «рак» Людовика XIII; воинские доспехи, которые носили короли французские, испанские, итальянские, немецкие, английские, рыцари, капитаны, сержанты, арбалетчики и рейтары, наемники, придорожная братия всех дорог, разбойничьи ватаги и швейцарцы королевского конвоя; стальные латы, побывавшие в лагере Золотой парчи,^[17] на рыцарских ристалищах и турнирах Франции, Англии и немецких княжеств; ратное вооружение с полей битв при Пуатье, Вернейле, Грансоне, Форново, Черизоле, Павии, Равенне, Полтаве, Кулодене, рыцарское или наемническое, благородное или изменническое, победоносное или посрамленное, дружеское или вражеское – все оно было собрано здесь бароном.

* * *

После обеда, угощая гостей кофе, г-жа де Бонмон не предложила сахара аббату Гитрелю, обычно пившему с сахаром, и пододвинула сахарницу барону Вальштейну, страдавшему сахарной болезнью и соблюдавшему строжайшую диету. Она поступила так не из ехидства, а потому что была поглощена мыслями, завладевшими всей ее душой. Будучи особой простодушной, она не могла скрыть огорчения, вызванного телеграммой из Парижа, текст которой имел двойной смысл: один, буквальный, не стоящий внимания, понятный всем, извещал о запоздавшей отправке каких-то черенков, другой, подлинный, глубокий, доступный только ей одной и для нее тягостный, сообщал, что друг не приедет в Монтиль и борется в Париже с ужасными невзгодами.

Господин Рауль Марсьен обычно испытывал острую нужду в деньгах. Уже лет пятнадцать, по достижении им совершеннолетия, он поддерживал свое положение в обществе изобретательными и смелыми маневрами. Но в этом году затруднения, беспрестанно возраставшие, становились ужасающими. Это очень огорчало и тревожило г-жу де Бонмон, так как она любила Рауля. Она любила его нежно, всем сердцем и всем телом. – А вам, господин де Термондр, два кусочка?

Она обожала своего Рауля, своего Рау́, со всею нежностью безмятежной души. Ей хотелось, чтобы он был ласковым и верным, невинным и мечтательным. А он был совсем не таким, как она желала, и она страдала от этого. И, боясь его потерять, она ставила свечи в часовне св. Антония.

Господин де Термондр взглядом знатока рассматривал картины. То

была живопись новейшей школы – произведения Добиньи, Теодора Руссо, Жюль Дюпре, Шентрейя, Диаза, Коро: меланхоличные пруды, опушки дремучего леса, росистые луга, деревенские улицы, прогалины, залитые золотом заката, ивы, тонущие в белой утренней дымке. Эти серебристые, бурые, зеленые, голубые, серые холсты, в своих массивных золоченых рамах, на фоне стеной обивки из красной камки, быть может, не очень гармонировали с монументальным камином эпохи Ренессанса и со скульптурой на его аспидных изразцах, изображавшей любовные похождения нимф и метаморфозы богов. Эти картины действительно немного разбивали впечатление от дивного старинного потолка, в расписных кессонах которого повторялся с бесконечным разнообразием геральдический павлин Бернара де Пав, привязанный за лапу к людне Николеты де Восель.

– Чудесный Миле! – сказал г-н де Термондр, разглядывая пастушку с гусями, стоящую на фоне золотистого неба, которая так и выпирала здесь своим деревенским простодушием.

– Хорошая картина, – ответил барон Вальштейн. – У меня в Вене есть такая же, но там изображен пастух. Не знаю, сколько зять заплатил за эту.

Он прогуливался по галерее с чашкой в руках.

– Этот Жюль Дюпре стоил моему зятю пятьдесят тысяч франков, этот Теодор Руссо – шестьдесят тысяч, а этот Коро – сто пятьдесят тысяч.

– Я знаю взгляды барона на живопись, – сказал г-н де Термондр, шествуя с Вальштейном вдоль стен. – Однажды, когда я спускался по лестнице Аукционного зала с картиной подмышкой, барон, по своему обыкновению, дернул меня за рукав и спросил: «Что это вы несете?» Я ответил с гордостью удачливого собирателя: «Рейсдаля, господин де Бонмон, подлинного Рейсдаля! С этой вещи была сделана гравюра, и у меня как раз имеется оттиск в моем собрании». – «А сколько вы заплатили за вашего Рейсдаля?» – «Это было в одной из нижних зал. Оценщик не понимал, что он продает... Тридцать франков!» – «Досадно, досадно!» И, видя, что я удивлен, он еще сильнее дернул меня за рукав и сказал: «Дорогой господин де Термондр, надо было заплатить десять тысяч. Если бы вы заплатили десять тысяч, он стоил бы в ваших руках тридцать. А – теперь, до какой цены может подняться эта тридцатифранковая картинка при распродаже вашего имущества? Самое большее до двадцати пяти луидоров. Надо быть рассудительным. Товар не может сразу подскочить с тридцати франков до тридцати тысяч». О! барон был молодец, – закончил г-н де Термондр.

– Да, он был молодец, – отвечал Вальштейн. – И, кроме того, любил

подшутить.

И оба собеседника с чашками в руках, подняв головы, узрели того самого барона, который был таким молодцом при жизни. Он висел тут среди дорогостоящих пейзажей, в сверкающей раме, вздернув свою насмешливую кабанью голову, написанную кистью Делоне.

Тем временем г-жа де Бонмон и аббат Гитрель сидели друг против друга перед огнем у массивного камина, то перекидываясь несколькими словами, то задумчиво умолкая. Г-жа де Бонмон размышляла о том, какой сладостной могла бы быть жизнь, если бы Рарá захотел. Она любила его так целомудренно и так простосердечно! «Все моралисты, древние и современные, все отцы церкви, все книжники и богословы, аббат Гитрель и монсиньор Шарло, папа и соборы, архангел с громогласной трубой и Христос, нисшедший во славе, чтобы судить живых и мертвых, не могли бы убедить ее, что любить Рарá – дурно. Она думала о том, что не увидит его в Монтиле и что, быть может, он в эту самую минуту ей изменяет. Она знала, что он посещает продажных женщин почти так же часто, как судебных приставов, и видала его на скачках со старыми кокотками, которым он бросал пронзительные взгляды, подавая им бинокль или накидывая на них манто. Ибо бедный друг не мог отделаться от целой стаи докучливых личностей, державших его почему-то в зависимости, а почему, он никак ей толком не хотел объяснить. Г-жа де Бонмон была несчастна. Она вздохнула.

Аббат Гитрель размышлял о епископской кафедре в Туркуэне. Его соперник, аббат Лантень, был уничтожен. Он погибал среди развалин семинарии под тяжестью векселей, предъявленных мясником Лафоли. Но соискателей на наследие монсиньора Дюклу было множество. Старший викарий одного из парижских приходов и один лионский священник, казалось, снискали благосклонность министра. Нунциатура же, как всегда, хранила молчание. Аббат Гитрель вздохнул.

Услыхав этот вздох, г-жа де Бонмон по доброте душевной устыдилась своих эгоистических мыслей. Она заставила себя заинтересоваться делами аббата Гитреля и спросила его весьма участливо, скоро ли он будет епископом.

– Вы хлопчете о турку энской епархии, – сказала она. – Но не наскучит ли вам этот маленький городок?

Аббат Гитрель заверил ее, что забота о пастве достаточно заполнит жизнь пастыря, и к тому же туркуэнское епископство – одно из самых старинных и обширных во всей Северной Галлии.

– Это кафедра блаженного Лупа, просветителя Фландрии, – добавил

аббат Гитрель.

– Вот как? – сказала г-жа де Бонмон.

– Не надо смешивать, – продолжал аббат Гитрель, – святого Лупа, просветителя Фландрии, со святым Лупом, епископом лионским, святым Ле, или Лупом, епископом санским, и святым Лупом, епископом труаским. Этот последний, прожив семь лет в браке с сестрою епископа арльского, по имени Пиментола, оставил жену свою, чтобы, уединившись в Лерене, предаться подвигам благочестия и воздержания.

А г-жа де Бонмон размышляла:

– Он опять здорово продулся в баккара. С одной стороны, это хорошо для него, так как одно время он слишком много выигрывал в клубе и никто не хотел против него понтировать. А с другой стороны – очень неприятно. Придется платить.

Мысль о том, что придется платить долги за Рарá, очень расстроила г-жу де Бонмон. Она и вообще-то неохотно платила, а кроме того, не любила давать Рарá деньги, как из принципа, так и из желания быть уверенной в том, что ее любят ради нее самой, а не ради ее денег. И все-таки она сознавала, что уплатить придется, стоит ей лишь увидеть своего Рарá, мрачного и страшного, прикладывающего мокрую салфетку к разгоряченной голове, на которой сквозь редящие волосы уже начинала просвечивать кожа; стоит лишь услышать, как бедный друг, изрытая ужасающие богохульства и проклятия, будет кричать, что ему остается только всадить пулю в свой «чердак». Ибо он был человеком чести, милый Рарá. Он жил этой честью: секундант, дуэльный арбитр – такова была его профессия, с тех пор как он покинул армию. В известном, очень шикарном кругу без него не обходился ни один поединок. И баронесса сознавала, что опять придется платить. Хоть бы по крайней мере он всецело принадлежал ей, был нежен, неотлучен! Но возбужденный, обозленный, ошалевший, он всегда казался охваченным яростью битвы.

– Святой, о котором идет речь, баронесса, – сказал аббат Гитрель, – блаженный Луп, или Лупус, проповедовал евангельское учение во Фландрии. Его апостольские подвиги бывали подчас тягостны. В его житии приведена черта, которая без сомнения вас умилила своей наивной прелестью. Однажды, проходя по обледеневшей сельской местности, угодник остановился, чтобы погреться в доме сенатора. Сенатор, окруженный своими сотрапезниками, повел с ними, в присутствии апостола, непотребные речи. Луп попытался прекратить этот разговор. «Дети мои, – сказал он, – разве вы не знаете, что в день Страшного суда вам придется нести ответ за всякое суетное слово?» Но те, презрев

увещевания святого отца, принялись еще пуще изощряться в непристойностях и кощунствах. Тогда, отряхнув прах от ног своих, праведник сказал им: «Я думал согреть у вашего очага свое брренное тело. Но ваши греховные речи вынуждают меня идти прочь, так и не успев отогреться».

Госпожа де Бонмон с грустью думала о том, что с некоторых пор Рарá не переставал скрежетать зубами, свирепо вращать глазами и угрожать евреям смертью. Он всегда был антисемитом. Впрочем, она тоже. Но она предпочитала не касаться этого вопроса. И она считала, что, любя даму-католичку, еврейку по происхождению, Рарá не должен бы говорить, что всем жидам надо выпустить кишки. Это тоже ее огорчало. Ей хотелось, чтобы у него было больше мягкости и добродушия, чтобы помыслы его были более мирными, а желания более нежными. К ее же любовным помыслам примешивались только невинные грезы о поэзии и о каких-нибудь сладостях.

– Апостольские труды блаженного Лупа, – продолжал аббат Гитрель, – не были бесплодны. Туркуэнские жители, принявшие от него святое крещение, единодушно провозгласили его епископом. Кончине его сопутствовали обстоятельства, которые несомненно поразят вас, баронесса. Однажды, в декабре месяце триста девяносто седьмого года, святой Луп, отягченный бременем лет и благочестивых подвигов, направился к дереву, окруженному терниями, у подножия которого он обычно творил молитвы; там воткнул он в землю два шеста, отмерив место по длине своего тела, и сказал ученикам своим, коих привел о собой: «Когда, по воле божьей, я покину юдоль мира сего, похороните меня здесь». И в первое воскресенье после того дня, когда он сам указал, где упокоить его тело, святой Луп отдал душу господу. Все было исполнено по его слову. Прибыл Бландий, чтобы предать земле тело подвижника, коего он призван был заместить в епископстве туркуэнском.

Госпожа де Бонмон была грустна и полна снисходительности. Она догадывалась о причине антисемитских буйств Рарá и оправдывала его. В последнее время, чтобы восстановить репутацию и поддержать свое положение как человека чести, Рарá взял на себя в клубе защиту армии, к которой прежде принадлежал в качестве кавалерийского офицера. Он упрочил узы, связывавшие его с этой великой семьей. Он даже дал пощечину какому-то еврею, спросившему в кафе «Военный ежегодник».

Госпожа де Бонмон любила его и восхищалась им, но счастлива она не была.

Она подняла голову, широко раскрыла свои прекрасные, как цветы,

глаза и сказала:

– Апостольские труды блаженного Лупа... Продолжайте, господин аббат. Вы меня очень заинтересовали.

Госпоже Элизабет де Бонмон суждено было искать сладостных утех мирной любви в душах, мало пригодных для такой цели. Эта чувствительная дама всегда отдавала свое сердце отъявленным авантюристам. При жизни барона Жюля она нежно любила сына одного невидного сенатора, молодого Н., прославившегося тем, что он единолично, без всяких соучастников, ухитрился присвоить секретные ассигнования одного министерства за целый год. Затем она вверила свою любовь оболстительному человеку, который блистал в первых рядах правительственной прессы и вдруг был бесследно сметен огромной финансовой катастрофой. Этим двух она по крайней мере получила, так сказать, из рук самого барона. Женщину нельзя упрекать, когда она находит утешение для сердца в своем кругу. Но третьего, последнего, самого дорогого, единственного, этого Рауля Марсьена, она обрела не в окружении барона. Он не принадлежал к деловому миру. Она повстречалась с ним в провинции, в лучшем французском обществе, в среде почти монархической и почти клерикальной. Он сам был почти дворянином. Она была уверена, что уж на этот раз утолит свою жажду ласковой и тихой близости и приобретет, наконец, рыцарственного друга с благородными и нежными чувствами, о котором мечтала.

И что же, – он оказался не лучше других: ледяной, сжигаемый страхами и бешенством, истерзанный тревогами, взбудораженный удивительными поворотами своей судьбы, построенной на плутнях и вымогательствах. Но насколько он был красочнее и занимательнее остальных! Его исключают из клуба, а он в этот самый час выступает в качестве секунданта в одном серьезном и деликатном деле чести; в одно и то же утро его награждают орденом Почетного легиона и вызывают в кабинет следователя по обвинению в мошенничестве! И всегда грудь колесом, кончики усов кверху, всегда он готов отстаивать свою честь острием шпага. Но за последние месяцы он терял хладнокровие, говорил слишком громко и слишком суетился, компрометировал себя из-за неумеренной мстительности: ибо, заявлял он, его предали.



Элизабет с тревогой следила за гневными вспышками Рара́, усиливавшимися с каждым днем. Когда она приходила к нему по утрам, он был без пиджака и, уткнувшись головой по самую шею в старый офицерский сундучок, наполненный до отказа судебными актами, чертыхаясь, проклиная, рыча, весь багровый, кричал оттуда: «Негодяи, каналы, сволочь, мерзавцы!» – и грозился, что о нем еще услышат, и услышат нечто новенькое. Она урывала поцелуи среди проклятий. А он выпроваживал ее, неизменно повторяя, что пустит себе пулю в «чердак».

Нет, не такой представляла она себе любовь. – Вы говорили, господин аббат, что блаженный Луп...

Но аббат Гитрель, склонив голову на плечо и скрестив руки на груди, дремал в своем кресле.

И г-жа де Бонмон, снисходительная и к себе и к другим, тоже задремала, думая о том, что Рара́, быть может, скоро справится со своими затруднениями, что ей, быть может, придется пожертвовать для этого лишь небольшой суммой и что, как-никак, она любима самым красивым мужчиной на свете.

– Дорогая, дорогая! – вскричала г-жа Орта, всеевропейская дама, голосом зычным, как охотничий рог, и способным навести оторопь на турок. – Разве вы не ждете сегодня вечером господина Эрнеста?

Она произнесла это стоя, напоминая крупными чертами лица и всей своей особой воинственную валькирию, забытую лет двадцать тому назад среди реквизита Байрейтского театра,^[18] грозную, препоясанную и облаченную стеклярусом и сталью, в окружении зарниц, молний и громов. По существу же она была очень доброй женщиной и многодетной матерью.

Внезапно разбуженная грохотом, исходившим из глотки милейшей г-жи Орта, словно из волшебного рога, баронесса ответила, что ее сын получил отпуск для поправки здоровья и уже сегодня должен быть в

Монтиле. За ним на станцию выслали коляску.

Аббат Гитрель, потревоженный в своей дреме этой ночной фанфарой, поправил соскользнувшие очки и, облизнув языком губы для большей умильности речи, пробормотал с небесной кротостью:

– Да, Луп... святой Луп...

– Я уже вижу вас в митре, с посохом в руках, с массивным перстнем на пальце, – сказала г-жа де Бонмон.

– Ничего еще неизвестно, – возразил аббат Гитрель.

– Что вы, что вы! Вас несомненно рукоположат.

И слегка наклонившись к аббату, г-жа де Бонмон тихо спросила:

– Скажите, господин аббат, у епископского перстня какая-нибудь особая форма?

– Установленной формы нет, сударыня, – ответил Гитрель. – Епископ носит перстень как символ своего духовного брака с церковью, а потому перстень должен в известном смысле выражать самым своим видом идею чистоты и строгой жизни.

– Вот как! – отозвалась г-жа де Бонмон. – А камень?

– В средние века, баронесса, щит у перстня бывал из золота, как и сам перстень, или же заменялся драгоценным камнем. Аметист, по-видимому, считается весьма подходящим для украшения пастырского перстня. Его поэтому и называют епископским камнем. Сверкает он умеренным блеском. Он входил в число двенадцати камней, вправленных в нагрудник еврейского первосвященника. В христианской символике он означает скромность и смирение. Нарбодий, реннский епископ одиннадцатого века, видит в нем эмблему сердец, распинающих себя на кресте иисусовом.

– В самом деле? – спросила г-жа де Бонмон.

И решила поднести г-ну Гитрелю, когда его посвятят в епископы, пастырский перстень с большим аметистом.

Но трубный голос г-жи Орта снова загремел:

– Дорогая, дорогая моя, ведь мы увидим господина Рауля Марсьена? Не правда ли, мы увидим милого господина Марсьена?

Нужно было подивиться, как эта европейская дама, знавшая все общества земного шара, ухитрялась не перепутать их в своей голове. Ее мозг был каким-то ежегодником салонов всех столиц, и она не была лишена известного понимания света; ее благожелательность распространялась на весь мир. Если она помянула г-на Рауля Марсьена, то только по невинности душевной. Она была сама невинность. Она не ведала зла. Хотя слипингкар – спальный вагон на железнодорожных рельсах – и заменял ей семейный очаг, она была женщиной домовитого склада и

притом хорошей женой, и хорошей матерью. Под лифом, на котором стеклярус и сталь лучились молниями и шуршали, как град, она носила корсет из толстого серого полотна. Ее горничные не сомневались в ее добродетели.

– Дорогая, дорогая моя, вы знаете, господин Рауль Марсьен дрался на дуэли с господином Изидором Мейером.

И на своем жаргоне международного маршрутного агентства для путешественников г-жа Орта сообщила то, что уже хорошо было известно баронессе. Она рассказала, как г-н Изидор Мейер, еврей, довольно известный и очень уважаемый в финансовых кругах, вошел однажды утром в кафе на бульваре Капуцинок, сел за столик и спросил «Военный ежегодник». Сын его был в армии, и г-ну Мейеру хотелось знать имена офицеров, его однополчан. Он протянул руку, чтобы взять «Ежегодник», поданный официантом, когда Рауль Марсьен подошел к нему и сказал: «Сударь, я запрещаю вам прикасаться к золотой книге французской армии». – «Почему?» – спросил г-н Изидор Мейер. «Потому что вы единоведец предателя». Г-н Изидор Мейер пожал плечами, а г-н Рауль Марсьен дал ему пощечину. После этого дуэль была признана неизбежной, и противники обменялись двумя пулями без результата.

– Дорогая, дорогая моя, вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю.

Госпожа де Бонмон не ответила, г-н де Термондр и барон Вальштейн тоже молчали.

– Кажется, приехал Эрнест, – сказала г-жа де Бонмон, прислушиваясь к глухому шуму колес и топоту лошадиных копыт.

Лакей принес газеты. Г-н де Термондр развернул одну из них и рассеянно заглянул в нее.

– Опять «Дело», – пробормотал он. – Опять какие-то профессора протестуют. Что у них за зуд вмешиваться в то, что их не касается? Ведь совершенно справедливо, чтобы военные улаживали свои дела между собой, как это обычно делается. Мне кажется, что когда семь офицеров...

– Безусловно, – подтвердил аббат Гитрель. – Когда семь офицеров вынесли свое заключение, то неуместно, я сказал бы – дерзко, сомневаться в их приговоре. Это явное неприличие, это непристойность!

– Вы говорите о «Деле»? – спросила г-жа де Бонмон. – Так я вам могу подтвердить, что Дрейфус виновен. Мне сказала об этом лицо, очень хорошо осведомленное.

Она сказала и покраснела. Этим лицом был Рауль.

В гостиную вошел Эрнест де Бонмон с насупленным и ехидным

видом.

– Здравствуй, мама! Здравствуйте, господин аббат!

Он еле поклонился остальным и опустился в грудь подушек под портретом отца. Он очень походил на него. Это был барон, но уменьшенный, сокращенный, потускневший, тот же кабан, только маленький, бледный и дряблый. Тем не менее сходство было поразительное, и г-н де Термондр заметил:

– Удивительно, господин де Бонмон, до чего вы похожи на портрет вашего отца.

Эрнест поднял голову и покосился на полотно Делоне.

– О-о! Папа был молодец. Я тоже молодец, но песенка моя спета. Как делишки, господин аббат? Ведь мы с вами друзья, не правда ли? Я попрошу вас немного погодя уделить мне минутку для разговора.

Затем он повернулся к г-ну де Термондру, державшему в руках газету.

– О чем там пишут? Вы понимаете, нам в полку не полагается иметь свое мнение. Это буржуазная роскошь – иметь о чем-либо свое мнение, хотя бы и дурацкое. И действительно, какое дело нам, солдатам, до важных шишек!

Бонмон хихикнул. Он всю развлекался в казармах. Очень хитрый и ловко скрывавший свою хитрость, молчаливый, осторожный, лукавый, он пускал в ход деморализующую силу, которой был наделен. Совратитель помимо воли, даже когда жадничал и скаредничал, он безумно хохотал безмолвным смехом в тот день, когда милостиво принял в подарок пенковую трубку от одного тщеславного бедняка-сотоварища. Он находил удовольствие в презрении и ненависти к начальникам, глядя, как одни готовы были продать ему душу, а другие, из страха себя скомпрометировать, отказывали ему не только в поблажке, но даже в осуществлении самых законных прав, в чем не отказали бы любому сыну крестьянина.

Юный Эрнест де Бонмон, коварный и вкрадчивый, подсел я аббату Гитрелю.

– Вы часто бываете у Бресе, господин аббат? Вы близки с ними, не правда ли?

– Не думайте, сын мой, – отвечал аббат Гитрель, – что я близок с герцогом де Бресе. Это не так. Но все же мне часто представляется случай видеть его в кругу семьи. В некоторые праздники я отправляю богослужение в часовне Бельфейской божьей матери, расположенной, как вы знаете, в Брсейском лесу. Это служит для меня, как я только что

говорил вашей матушке, источником утешения и благодати. После мессы я завтракаю либо в доме причта, у местного священника, господина Травьеса, либо в замке, где, должен сказать, мне оказывают самый любезный прием. Герцог де Бресе безукоризненно прост в обращении, дамы де Бресе обходительны и ласковы. Они творят много добрых дел в округе, – творили бы еще больше, если бы не слепая вражда, вздорные предубеждения и озлобленность жителей...

– Не знаете ли вы, господин аббат, как была принята посудина, которую мама послала герцогине для часовни Бельфейской божьей матери?

– Какая посудина? Если вы имеете в виду, сын мой, золоченую дароносицу, то могу вас уверить, что господин и госпожа де Бресе были очень тронуты даром, столь скромно поднесенным вашей матушкой чудотворящей деве.

– Значит, это была хорошая идея, господин аббат? Так она принадлежит мне. Мама, как вы знаете, не очень изобретательна... О! я не ставлю ей этого в упрек... А теперь давайте поговорим серьезно. Вы меня очень любите, господин аббат, скажите искренно?

Аббат Гитрель обеими руками пожал руку молодому Бонмону.

– Сын мой, не сомневайтесь в моих чувствах к вам: они отеческие, скажу даже – они материнские, чтобы лучше выразить всю их силу и нежность. Я наблюдал за вами с умилением, дорогой Эрнест, с того теперь уже далекого дня, когда вы так благочестиво приняли первое причастие, и по сие время, когда вы выполняете благородный долг солдата в нашей прекрасной французской армии, которая, как я с удовольствием убеждаюсь, становится день ото дня все более христианской и религиозной. И я уверен, мое дорогое дитя, что среди развлечений и даже заблуждений юного возраста вы сохранили веру. Ваши поступки свидетельствуют об этом. Я знаю, что вы всегда почитали для себя за честь содействовать богоугодным делам. Вы – мое любимое чадо.

– В таком случае, господин аббат, окажите услугу своему чаду. Скажите герцогу де Бресе, чтоб он дал мне пуговицу.

– Пуговицу?

– Да, охотничью пуговицу герцогов де Бресе.

– Охотничью пуговицу! Но, сын мой, это касается вопросов охоты, а я не такой великий ловец перед господом, как священник Травьес. Я гораздо больше служил святому Фоме, чем святому Губерту,^[19] Охотничью пуговицу! Что это, фигуральное выражение, метафора, означающая совместную охоту? Словом, сын мой, вы хотите получить приглашение на охоту господина де Бресе?

Эрнест де Бонмон вскочил:

– Не путайте, господин аббат. Я говорю не о том... совсем не о том. Я вполне уверен, что получу приглашение на охоту к Бресе в воздаяние за посудину.

– Дароносицу, дароносицу, ciborium. Я тоже думаю, сын мой, что герцог и герцогиня будут рады послать приглашение, если узнают, что это может быть приятно вам и вашей матушке.

– Еще бы им не послать. Раз они приняли серебряную посудину. Но можете им передать, что я не буду в восторге от их приглашения. Плесневеть на каком-нибудь перепутье, откуда ничего не видно, подставлять рожу под грязь, когда мчится охотничья ватага, нарываться на выговор от какого-нибудь псаря за то, что затоптал след, – спасибо, я не любитель такого сорта развлечений. Бресе могут оставить при себе свое приглашение.

– В таком случае, сын мой, я не улавливаю вашей мысли.

– Но она яснее ясного, господин аббат. Я не хочу, чтобы эти Бресе ставили меня ни во что, – вот моя мысль.

– Объяснитесь, пожалуйста.

– Так вот, господин аббат, вообразите, мне отведут место на Королевском перепутье в обществе сельского врача, жены жандармского ротмистра и старшего писца господина Ирвуа. Нет, Это не дело! А если я получу пуговицу, то буду охотиться со всей командой. И они увидят, что хотя я иной раз и смахиваю на мокрую курицу, но все же я не такой олух, чтобы ударить лицом в грязь. Итак, ваше преподобие, вы можете раздобыть мне пуговицу. Бресе вам не откажут. Вам стоит только попросить ее во имя Бельфейской божьей матери.

– Не вмешивайте, сын мой, прошу вас, Бельфейскую божью мать в дела, не имеющие к ней никакого касательства. Чудотворица бресейская и без того свершает немало дел, даруя благодать вдовам, сиротам и нашим дорогим солдатикам на Мадагаскаре.^[20] Но неужели, мой милый Эрнест, эта пуговица дает какие-либо важные преимущества? Разве это уж такой ценный талисман? Вероятно, с ее обладанием связаны особые привилегии. Расскажите мне о них. Я отнюдь не презираю древнейшего и благороднейшего искусства звериной травли. Кроме того, я принадлежу к клиру епархии, особенно преданной псовой охоте. Пожалуйста, просветите меня.

– Вы балагурите, господин аббат, и строите из меня шута. Вам ведь отлично известно, что пуговица означает право носить цвета охоты... Буду говорить с вами начистоту, я откровенен, мои средства мне это позволяют.

Я добиваюсь пуговицы Бресе, потому что это шикарно, а я люблю шик. Я хочу этого из снобизма, ибо я сноб. Из честолюбия, ибо я честолюбив. Я хочу этого, потому что мне лестно обедать у Бресе в день святого Губерта. Думаю, что пуговица Бресе будет мне подстать! Не скрою, мне этого сильно хочется. У меня нет ложного стыда... Впрочем, нет и настоящего. Выслушайте меня, господин аббат: мне нужно сказать вам нечто очень серьезное. Вам следует знать, что, прося для меня пуговицу у герцога де Бресе, вы требуете только должного... именно... должного. Я здесь владею землями. Сам я не бью у себя оленей, я пропускаю охотников через свои владения, позволяю травить зверя на своей земле; это заслуживает признательности и хорошего отношения. Господин де Бресе просто обязан дать эту пуговицу своему молодому соседу Эрнесту де Бонмону.

Аббат ничего не ответил; видимо, он противился, не хотел идти навстречу. Эрнест продолжал:

– Мне незачем говорить вам, господин аббат, что, если бы Бресе потребовали платы за пуговицу, я не постоял бы за ценой.

Аббат Гитрель сделал протестующий жест:

– Это предположение не может иметь места, дитя мое. Оно не вяжется с характером герцога де Бресе.

– Возможно, господин аббат. Пуговица – даром, пуговица – за деньги, это зависит от состояния и от взглядов. Есть охоты, которые обходятся владельцам в восемьдесят тысяч франков в год; есть такие, которые приносят им тридцать тысяч дохода. Я говорю это не в порицание тем, кто берет деньги за пуговицу. Я лично сам поступил бы именно так. По-моему, это справедливо. И кроме того, есть районы, где охота стоит так дорого, что, как бы ни был богат владелец, он не в состоянии один покрыть расходы. Предположите, господин аббат, что у вас есть охотничьи угодья в окрестностях Парижа. Смогли бы вы покрыть из своего кармана все разорительные издержки и возместить крестьянам убытки? Но я тоже думаю, как и вы, что в Бресе нет платных пуговиц. Герцог не такого склада человек, чтоб извлекать выгоду из своей охоты. Ну-с, так значит, вы получите мне пуговицу даром, господин аббат, – и деньги будут целы!

Прежде чем ответить, аббат семь дум передумал. И это мудрое молчание встревожило Эрнеста Бонмона.

Наконец Гитрель изрек:

– Сын мой, я сказал и еще раз повторяю; я вас люблю всем сердцем. Я хотел бы быть вам полезным или хотя бы приятным. Я приложу все старания, чтобы при случае оказать вам услугу. Но, право же, я не такая влиятельная особа, чтобы испросить для вас то светское отличие, которое

вы именуете пуговицей. Представьте себе, что, выслушав от меня вашу просьбу, герцог де Бресе сделает какие-либо возражения, сошлется на трудности, – я перед ним окажусь бессильным и безоружным. Какими средствами может бедный преподаватель красноречия провинциальной духовной семинарии отвести возражения, устранить трудности, вырвать согласие, так сказать, силой? Во мне нет ничего такого, чтобы заставить со мной считаться, чтобы импонировать великим мира сего. Я не могу, я даже не должен впутываться в такие мелочи, раз я не уверен в успехе.

Эрнест де Бонмон удивленно и с некоторым восхищением взглянул на аббата Гитреля и сказал:

– Понимаю, господин аббат. Это невозможно теперь. Но когда вы будете епископом, вы подцепите мне пуговицу, как кольцо на карусели... Не так ли?

– Можно предположить, – серьезно подтвердил г-н Гитрель, – что если бы охотничью пуговицу попросил для вас епископ, господин де Бресе не ответил бы отказом.

IV

Вечером этого дня г-н Бержере после упорной работы чувствовал себя усталым. Он совершал обычную прогулку по городу в обществе г-на Губена, своего любимого ученика после измены г-на Ру, и, размышляя о сделанном за день, спрашивал себя, подобно многим другим, какие плоды пожинает человек от трудов своих. Г-н Губен обратился к нему с вопросом:

– Считаете ли вы, учитель, что Поль-Луи Лурье^[21] хорошая тема для докторской диссертации?

Господин Бержере не ответил. Проходя мимо писчебумажной лавки г-жи Фюзелье, он остановился перед витриной, где были выставлены натурры для рисования, освещенные газовыми рожками, и стал с интересом рассматривать Геркулеса Фарнезского, который выпячивал свои мускулы среди всякого школьного товара.

– Я питаю к нему симпатию, – сказал г-н Бержере.

– К кому? – спросил г-н Губен, протирая стекла пенсне.

– К Геркулесу, – отвечал г-н Бержере. – Он был славный малый. «Судьба предназначала мне путь, – говорил он себе, – исполненный трудов и направленный к возвышенной пели». Он много потрудился на этой земле, прежде чем был вознагражден смертью, являющейся в сущности единственной наградой за жизнь. У него не было досуга для раздумья; длительные размышления не подтачивали его бесхитростной души. Но он испытывал грусть, когда наступал вечер и когда, если не умом, то своим великим сердцем он постигал тщету усилий и неизбежный удел даже лучших людей – одновременно с добром творить и зло. Этот могучий человек отличался необычайной кротостью. Ему, как это бывает и со всяким из нас, когда мы отдаемся какой-либо деятельности, приходилось, не делая различия, убивать невинных наряду с виновными, слабых наряду с насильниками, а потому он должен был чувствовать некоторое раскаяние. Может статься, что он даже жалел злосчастных чудовищ, уничтоженных им для блага людей: бедного критского быка, бедную лернейскую гидру, бедного льва, который, умирая, оставил ему в наследство такой теплый плащ. Не раз, вероятно, после трудов, на склоне дня, его палица казалась ему непомерно тяжелой.

Господин Бержере с напряжением приподнял зонтик, словно то было увесистое оружие, и продолжал свою речь:

– Он был силен и был слаб. Мы любим его за то, что он похож на нас.

– Геркулес? – спросил г-н Губен.

– Да, – ответил просто г-н Бержере. – Подобно нам, он родился несчастным; сын бога и смертной женщины, он унаследовал от этого сочетания печаль мыслящей души и терзания ненасытного тела. Всю жизнь он исполнял прихоти взбалмошного царя. А мы? Разве мы тоже не дети Зевса и злополучной Алкмены и не рабы Эврисфея?^[22] Я завишу от министра народного просвещения, который может послать меня в Алжир, как Геркулес был послан к насамонам.

– Уж не покидаете ли вы нас, дорогой учитель? – спросил с тревогой г-н Губен.

– Взгляните, как он печален! – продолжал г-н Бержере. – Как устало опирается он на свою палицу и свесил руку! Склонив голову, он думает о понесенных им тяжелых трудах. Геркулес Фарнезский^[23] восходит к статуе Лисиппа,^[24] Сам Лисипп, до того как стать скульптором, был подмастерьем в кузнице, и силач-ваятель, изобразивший силача-героя, создал тип Геркулеса.

Еще раз протерев носовым платком стекла пенсне, г-н Губен попытался разглядеть в витрине черты фигуры, которую описывал учитель. Но в самый разгар его усилий г-жа Фюзелье, хозяйка лавки, услышав, что часы пробили девять, погасила газ перед мигающими глазами ученика, сразу даже не понявшего, почему он ничего не видит, ибо близорукость отделяла его от того воображаемого мира, в котором копошится большинство людей.

А так как г-н Бержере продолжал свою прогулку и свои речи, то Губен пошел за ним на голос, ибо руководствовался преимущественно слухом на всех земных тропах, на которые позволяла ему вступать его осторожная молодость.

– Сила порождала в нем слабость, – продолжал преподаватель филологического факультета. – Он был под ярмом у собственной силы, подчиняясь требованиям своего могучего тела, заставлявшего его целиком пожирать баранов, осушать полные амфоры густого вина и делать глупости ради ничтожных женщин. Герой, своей палицей водворявший на земле благословенный мир в высокое правосудие, сын Зевса, засылал иногда на меже, как простой пьянчуга, или жил неделями и месяцами у какой-нибудь девки на положении друга сердца. Отсюда его меланхолия. Можно было опасаться, что, обладая такой бесхитростной, податливой, алчущей справедливости душой, такими крепкими мускулами, он никогда не будет ничем иным, как отличным воякой, сверхжандармом. Но его слабости, его

злополучные испытания, его ошибки расширили кругозор его души, отверзли ему глаза на многообразие жизни и пропитали кротостью его грозную доброту.

– Не думаете ли вы, дорогой учитель, – спросил г-н Губен, – что Геркулес – это солнце, что его двенадцать подвигов – это знаки зодиака, а пылающее одеяние, подаренное ему Деянирой,^[25] олицетворяет облака, озаренные пламенем заката?

– Возможно, – отвечал г-н Бержере, – но я не хочу атому верить. Я представляю себе Геркулеса таким, каким во времена мидийских войн его представлял себе любой фиванский цырюльник или элевсинская знахарка. И я считаю такое представление о Геркулесе более ярким, более образным и животрепещущим, чем все системы сравнительной мифологии. Он был славный малый. Отправляясь за кобылицами Диомеда, он проходил через Феры и остановился перед дворцом Адмета. Тут он сперва потребовал, чтобы ему дали попить и поесть, наорал на слуг, никогда не выдавших такого неотесанного гостя, увенчал голову миртами и принялся истреблять напитки самым неумеренным образом. Не будучи гордым от природы, он спьяну захотел, чтобы виночерпий непременно составил ему компанию. Тот, возмущенный такого рода манерами, строго ответил, что сейчас не время веселиться и пьянствовать, когда царицу, добрую Алкесту, предали погребению. Она посвятила себя Танатосу вместо мужа своего Адмета. То была, следовательно, не обычная смерть, а чародейство. Добряк Геркулес, тотчас же протрезвившись, спросил только, куда отнесли Алкесту. Она покоилась за городом по Ларисской дороге в мраморной гробнице. Он бросился туда. Когда Танатос^[26] в черном пеплуме явился отвесть от орошенных кровью жертвенных лепешек, герой, притаившись подле погребального покоя, набросился на царя теней, стиснул его в кольцо своих объятий и, искалечив, заставил отдать ему Алкесту, которую отвел обратно во дворец Адмета, безмолвную и прикрытую фатою. На сей раз он отказался от угощения. Он торопился. У него оставалось лишь считанное время на то, чтобы раздобыть кобылиц Диомеда.

Это чудесный подвиг. Но похождение с керкопами мне, Пожалуй, больше нравится. Слыхали ли вы о двух братьях керкопах,^[27] господин Губен? Одного звали Андолем, другого Атлантом. У них были обезьяньи морды. Судя по названию их племени, у них должны были быть и хвосты, как у обезьян мелкой породы. Отъявленные проныры, они занимались тем, что обкрадывали плодовые сады. Мать неоднократно предостерегала их, чтобы они опасались героя-меламлига. Как вы знаете, Геркулеса в

просторечии звали мелапигом, или Чернозадым, потому что его кожа не отличалась белизной. Но неосторожные братья пренебрегли мудрым советом. Застав однажды мелапига спящим на мшистом берегу ручья, они подкрались к нему, чтобы украсть у него палицу и львиную шкуру, но герой, внезапно проснувшись, схватил обоих, подвесил их за ноги к отломанному от дерева суку и, перекинув его через плечо, побрел своей дорогой. Керкопам, конечно, было не по себе, и они опасались за свою судьбу. Но так как тела у них были юркие, а души беспечные и все служило им предметом для забавы, то они развлекались разглядыванием того, что представлялось их взорам, то есть той самой частью тела, которая заслужила герою прозвище мелапига. Атлант указал на нее Андолу, а он ответил, что, по-видимому, их поймал тот самый герой, о котором говорила им мать. И оба, вися, как косули на охотничьей рогатине, перешептывались: «мелапиг, мелапиг» – и сопровождали это слово смешками, напоминая крик удода в лесу. Геркулес был очень вспыльчив и не терпел над собой издевок; но не все причиняло уколы его самолюбию, и он не притязал, подобно бедному маленькому Гиласу,^[28] на то, что кожа у него с головы до ног была белой, Прозвище мелапига, напротив, показалось ему почетным и вполне пристойным для силача, шествовавшего по дорогам и совершавшего подвиги. Он был простодушен и охотно смеялся по всякому доводу. Болтовня обоих керкопов рассмешила его до того, что он согнулся в три погибели и, положив свою дичь на землю, присел на краю дороги, чтобы дать волю раскатам своего геройского хохота, Долго гудела долина от веселого гоготанья его расходившейся глотки. Солнце, закатывавшееся на горизонте, уже заливало пурпуром облака, и в отблесках его сверкали вершины гор, а герой все еще хохотал, сидя под черными соснами и косматыми лиственницами. Наконец он встал, отвязал обоих человеко-обезьянок, затем, отчитав их, отпустил на свободу, а сам зашагал во мраке по горе, продолжая свой тяжелый путь. Как видите, он был славный малый.

– Позвольте мне задать вам вопрос, дорогой учитель, – сказал г-н Губен. – Считаете ли вы, что Поль-Луи Курье хорошая тема для докторской диссертации? Потому что как только я получу степень лиценциата...

В букинистическом углу книжной лавки Пайо зашел как-то разговор о «Деле», и г-н Бержере, отличавшийся умозрительным мышлением, высказал суждения, идущие вразрез с общими взглядами.

– Разбирательство при закрытых дверях – возмутительная процедура, – сказал он.

И когда г-н де Термондр возразил ему, ссылаясь на государственные соображения, он отвечал:

– У нас нет государства. У нас есть ведомства. То, что мы называем государственными соображениями, в действительности соображения бюрократические. Нам твердят о высоком их значении, а на самом деле они позволяют администрации замазывать свои промахи и усугублять их.

Господин Мазюр торжественно произнес:

– Я республиканец, якобинец, террорист... и патриот. Я не возражаю против того, чтобы гильотинировали генералов, но не позволю оспаривать решения военного суда.

– Вы правы, – отозвался г-н де Термондр, – ибо, если уж вообще существует какое-либо правосудие, достойное уважения, то именно это. Зная армию, могу вас уверить, что нет более снисходительных и сострадательных судей, чем военные.

– Рад слышать это от вас, – отвечал г-н Бержере. – Но армия это такое же ведомство, как ведомство земледелия, финансов или народного просвещения, и нельзя понять, почему существует военный суд, когда нет ни суда земледельческого, ни суда финансового, ни суда университетского. Всякий специальный суд противоречит принципам современного права. Военные превотальные суды будут казаться нашим потомкам такими же средневековыми и варварскими учреждениями, какими представляются нам суды сеньориальные и суды официалов.^[29]

– Вы шутите, – сказал г-н де Термондр.

– Так всегда говорили тем, кто прозревал будущее, – ответил г-н Бержере.

– Но посягать на военный трибунал, – воскликнул г-н де Термондр, – это означает конец армии, конец стране!

Господин Бержере дал такой ответ:

– Когда аббаты и бароны лишились нрава вешать вияанов, то так же казалось, что наступило светопреставление. Но вскоре установился новый

порядок, лучше старого. Я предлагаю, чтобы в мирное время солдат был подсуден обычному суду. Что же, по-вашему, со времен Карла Седьмого или даже Наполеона во французской армии не было более серьезных перемен, чем эта?

– Я – старый якобинец, – сказал г-н Мазюр. – Я считаю, что надо сохранить военные трибуналы и подчинить генералов Комитету общественного спасения. Нет лучшего средства, чтобы заставить их одерживать победы.

– Это другой вопрос, – заметил г-н де Термондр, я – возвращаюсь к предмету нашего разговора и спрашиваю господина Бержере, действительно ли он полагает, что семь офицеров могли ошибиться.

– Четырнадцать! – воскликнул г-н Мазюр.

– Пусть четырнадцать, – согласился г-н де Термондр.

– Полагаю, – отвечал г-н Бержере.

– Четырнадцать французских офицеров! – вскричал г-н де Термондр.

– Да будь они швейцарцами, бельгийцами, испанцами, немцами или голландцами, они точно так же могли бы ошибиться, – сказал г-н Бержере.

– Немыслимо! – воскликнул г-н де Термондр.

Книгопродавец Пайо покачал головой в знак того, что тоже считает это невыносимым. А приказчик Леон взглянул на г-на Бержере с удивлением и возмущением.

– Неизвестно, удастся ли вам когда-либо узнать правду об этом деле, – продолжал примирительно г-н Бержере. – Очень сомневаюсь, хотя все возможно на этом свете, даже торжество истины.

– Вы имеете в виду пересмотр, – сказал г-н де Термондр. – Никогда! Пересмотра вы не добьетесь. Это равносильно войне. Такое мнение высказали мне три министра и двадцать депутатов.

– Поэт Бушор,^[30] – отвечал г-н Бержере, – учит нас, что лучше претерпеть бедствия войны, чем совершить несправедливый поступок. Но вы, господа, вовсе не стоите перед такой альтернативой, и вас запугивают врагами.

В тот момент, когда г-н Бержере произносил эти слова, на площади раздался сильный шум. Это проходила кучка мальчишек с криками: «Долой Золя! Смерть жидам!» Они шли бить стекла у сапожника Мейера, которого считали евреем, и обыватели поглядывали на них с благосклонностью.

– Славные мальчуганы! – воскликнул г-н де Термондр, когда манифестанты миновали лавку.

Господин Бержере, уткнувшись в толстую книгу, медленно произнес:

– «За свободу стояло лишь незначительное меньшинство

образованных людей. Почти все духовенство, генералитет, невежественная и фанатичная чернь жаждали властелина».

– Что вы такое говорите? – спросил взволнованно г-н Мазюр.

– Ничего, – отвечал г-н Бержере. – Я читаю главу из испанской истории. Картина общественных нравов в эпоху реставрации при Фердинанде Седьмом.^[31]

Тем временем сапожника Мейера избили до полусмерти. Он не подал жалобы из опасения быть избитым до смерти, а еще и потому, что правосудие толпы в сочетании с правосудием военным внушало ему немое восхищение.

VI

Господин Бержере не ведал грусти, ибо обладал подлинной независимостью, живущей внутри нас. Душа его была свободна. Кроме того, он наслаждался глубокой радостью уединения после отъезда г-жи Бержере и в ожидании своей дочери Полины, которую должна была вскоре привезти из Аркашона мадемуазель Бержере, его сестра. Г-н Бержере представлял себе, как он приятно заживет с дочерью, похожей на него особым складом ума и речи и льстившей его самолюбия, так как ему по поводу нее расточали комплименты. Ему была приятна мысль свидеться с сестрой своей Зоэ, старой девой, которая никогда не отличалась красотой и сохранила природную прямоту, усугубленную тайной склонностью не нравиться, но не была при том лишена ни ума, ни сердечности.

А пока что г-н Бержере был поглощен устройством новой квартиры. Он развешивал на стенах своего кабинета, над книжными полками, старинные виды Неаполя и Везувия, доставшиеся ему по наследству. Из всех занятий, которым может посвящать себя порядочный человек, вколачивание гвоздей в стену доставляет ему, пожалуй, наиболее безмятежное удовольствие. Граф де Келюс,^[32] знавший толк во всякого рода наслаждениях, ставит выше всего распаковывание ящичков с этрусской керамикой.

Итак, г-н Бержере вешал на стену старинную гуашь, изображавшую на фоке синего ночного неба Везувий с султаном из пламени и дыма. Эта картина напоминала ему часы детства с его неожиданностями и очарованиями. Он не был грустен. Он не был и весел. У него были денежные заботы. Неприглядные стороны бедности были ему знакомы. *Χρῆσται ἀνὴρ* «деньги делают человека», как сказал Пиндар (Истмийские эпипикии, II).

Чувство симпатии не связывало его ни с коллегами, ни с учениками. Чувство симпатии не связывало его и с жителями города. Не умея чувствовать и воспринимать, как они, он был отрезан от человеческой общины, и обособленность лишала его тех сладостных связей с людьми, которые проникают даже сквозь стены домов и сквозь запертые двери. Уже тем самым, что он мыслил, он казался для всех существом странным, беспокойным, подозрительным. Он смутил даже книгопродавца Пайо. И букинистический угол, его пристанище и убежище, перестал служить ему надежным приютом. Тем не менее он не грустил. Он расставлял книги на

еловых полках, сколоченных в его присутствии столяром, и с удовольствием перебирал эти маленькие памятники своей скромной и созерцательной жизни. Он устраивался с усердием, а когда уставал развешивать картины и устанавливать мебель, то погружался в какую-нибудь книгу, и хотя всякая книга была творением рук человека и он не рассчитывал получить от нее удовольствие, он все же в конце концов получал его. Он прочел несколько страниц из сочинения «О прогрессе, достигнутом современным обществом», и подумал:

«Будем смиренны. И не будем считать себя превосходными созданиями, ибо это не так. Вникая в себя, постигнем нашу сущность, столь же грубую и буйную, как и сущность наших предков, итак как мы пользуемся по сравнению с ними преимуществом длительного опыта, признаем по крайней мере преемственность и непрерывность нашего невежества».

Так размышлял г-н Бержере, устраиваясь в новом жилище. Он не был грустен. Он не был и весел, думая о том, что всегда будет испытывать тщетное влечение к г-же де Громанс, и не понимая, что она дорога ему лишь желанием, которое внушала. Но смятение чувств не позволяло ему постичь с достаточной ясностью эту философскую истину. Он не был красив, не был молод, не был богат – и не был грустен, потому что мудрость приближала его к блаженному покою духа, ходя он и не достигал его. И он не был весел, потому что у него была чувственная Душа, не свободная от желаний и иллюзий.

Служанка Мари, создав в доме атмосферу трепета и ужаса и выполнив тем свое назначение, получила расчет. Г-н Бержере нанял взамен ее добрую женщину из местных горожанок, которую он называл Анжеликой, а лавочники и крестьяне на базаре величали госпожой Борниш.

Она была некрасива, и муж ее, Никола Борниш, отличный кучер, но забулдыга, бросил ее еще тогда, когда она была молода. Она нанялась в служанки, работала у разных господ. От прежнего своего положения она сохранила известного рода гордость, подчас надоедливую, и некоторую властность. Вообще же, травница, знахарка и немножко колдунья, она наполняла дом приятным запахом трав. Обуреваемая искренним усердием, она вечно терзалась потребностью любить и нравиться. С первого же дня она полюбила г-на Бержере за благородство ума и мягкость обхождения. Но с тревогой ожидала она приезда мадемуазель Бержере. Предчувствие подсказывало ей, что она не понравится аркашонской сестре. Зато она вполне удовлетворяла г-на Бержере, обретшего мир в доме и наслаждавшегося благословенной свободой.

Свои книги, некогда подверженные презрению и гонению, он расставил на длинных полках в просторной и светлой комнате. Здесь он безмятежно работал над своим «Virgilius nauticus» и предавался безмолвным оргиям размышлений. Молодой платан плавно шевелил перед окном вырезными листьями, а в отдалении контрфорс церкви св. Экзюпера выпячивался своим выщербленным коньком, из которого росло вишневое деревцо – дар какой-нибудь птицы.

Однажды утром, когда г-н Бержере, сидя за столом у окна, перед которым колыхались листья платана, доискивался, каким образом струги Энея превратились в нимф, он услышал царапанье в дверь и тотчас же увидел старую служанку, которая, подобно двуутробке, несла на животе сосунка, высовывавшего черную голову из ее подобранного передника, как из сумки. Она постояла минутку неподвижно с выражением тревоги и надежды на лице, затем положила маленькое существо на ковер у ног хозяина.

– Что это такое? – спросил г-н Бержере.

Это был песик неопределенной породы, помесь терьера, с красивой мордочкой, гладкой короткой шерстью темнорыжего цвета и каким-то огрызком вместо хвоста. Тельце у него было еще мягкое, щенячье, и он ковылял, обнюхивая ковер.

– Анжелика, отнесите это животное хозяевам, – сказал г-н Бержере.

– У него нет хозяев, господин Бержере, – ответила Анжелика. Г-н Бержере молча взглянул на собачку, она обнюхивала его туфли и приятно посапывала. Г-н Бержере был филологом. Может быть, поэтому он и задал бесполезный при данных обстоятельствах вопрос:

– Как ее зовут?

– Никак, господин Бержере.

Этот ответ, казалось, раздосадовал г-на Бержере. Он посмотрел на собаку с грустью и унынием.

Тут она положила обе передние лапы на туфлю г-на Бержере и, обняв ее таким образом, принялась незлобиво покусывать ее носок. Внезапно умилившись, г-н Бержере взял на колени безыменного зверька. Собака посмотрела на него. И этот доверчивый взгляд растрогал г-на Бержере.

– Красивые глаза! – сказал он.

Действительно, у собаки были красивые глаза: карие, с золотистым отливом и миндалевидными кремowymi белками. И взгляд этих глаз отражал простые и таинственные мысли, вероятно, общие для всех умных животных и для простодушных людей, населяющих землю.

Но, устав, по-видимому, от умственного усилия, затраченного на

общение с человеком, щенок закрыл свои красивые глаза и широким зевком разверз розовую пасть, обнаруживая завиток язычка и строй сверкающих зубов.

Господин Бержере положил ему палец в рот. Щенок лизнул руку. А старая Анжелика, ободренная, улыбнулась.

– До чего ласковы эти зверюшки, – сказала она.

– Собака – животное религиозное, – отвечал г-н Бержере. – В диком состоянии она поклоняется луне и отблескам, колышущимся на воде. Это ее боги, и она взывает к ним по ночам протяжным воем. Став ручной, она старается снискать ласками благоволение людей – могущественных гениев, располагающих благами жизни. Она чтит их и во славу им исполняет обряды, унаследованные от предков: лижет им руки, жметя к ногам, а когда видит, что они сердятся, подползает к ним на животе в знак смирения, дабы умиловить их гнев.

– Не все собаки друзья человека, – сказала Анжелика. – Иные кусают руку, которая их кормит.

– Это собаки нечестивые и исступленные, – возразил г-н Бержере, – это безумцы, подобные Аяксу, сыну Теламона, ранившему в руку золотую Афродиту. Такие святотатцы погибают неестественной смертью, либо влачат жалкую бездомную Жизнь. Не так обстоит дело с собаками, участвующими в распрях своего бога и воюющими с соседним богом, с богом-врагом. Это – герои. Такова собака мясника Лафоли, которая вцепилась острыми клыками в икру бродяге Подорожнику. Ведь боги собак ведут такую же войну между собой, как и боги людей. И курносый Турка вступает за своего бога Лафоли против богов-бродяг, как Израиль вступился за Иегову, чтобы низвергнуть Хамоса и Молоха.^[33]

Тем временем щенок, убедившись, что речи г-на Бержере неинтересны, подогнул лапы и вытянул мордочку, чтобы заснуть на уютивших его коленях.

– Где вы его нашли? – спросил г-н Бержере.

– Не нашла, сударь, а мне дал его повар господина Делиона.

– Словом, – сказал г-н Бержере, – мы взяли на себя заботу об этой душе?

– Какой душе? – удивилась старуха Анжелика.

– Об этой собачьей душе. Собака в сущности это душа. Не скажу – бессмертная. Однако, сравнивая положение, занимаемое во вселенной этим бедным зверьком, с моим, я признаю и за ним и за собою одинаковое право на бессмертие.

После долгого колебания старуха Анжелика выговорила с

болезненным усилием, от которого верхняя ее губа поднялась и обнаружила два последних уцелевших зуба:

– Если, сударь, вы не хотите собаки, я верну ее повару господина Делиона. Но ее можно оставить, ручаюсь вам. Ее не будет ни видно, ни слышно.

Не успела она договорить, как маленькая тварь встрепенулась на коленях г-на Бержере от грохота проезжавшей по улице подводы и залилась звонким и продолжительным лаем, от которого задребезжали стекла.

Г-н Бержере улыбнулся.

– Это сторожевая собака, – сказала как бы в извинение Анжелика. – Сторожевые собаки самые преданные из всех.

– Вы ее накормили? – осведомился г-н Бержере.

– А как же, – отозвалась Анжелика.

– Что она ест?

– Вы же знаете, сударь, – собаки едят овсянку.

Господин Бержере, несколько уязвленный, возразил довольно необдуманно, что она, быть может, впопыхах слишком рано отняла щенка от материнских сосков. Но его еще раз посрамили, так как собака была явно полугодовалая. Г-н Бержере спустил щенка на ковер и оглядел с интересом.

– Красив! – залюбовалась служанка.

– Нет, некрасив, – ответил г-н Бержере. – Но симпатичен, у него хорошие глаза. То же самое говорили про меня, – добавил профессор, – когда я был втрое старше его и даже наполовину не так умен. Конечно, с тех пор я обозрел мир более глубоким взглядом, чем это когда-либо ему удастся. Но по сравнению с абсолютной истиной можно сказать, что мои познания так же ничтожны, как и его. Они тоже лишь геометрическая точка в бесконечности. – И обращаясь к бедному зверьку, обнюхивавшему корзину для бумаг, он продолжал: – Да, нюхай, нюхай, внюхивайся, втягивай в себя из внешнего мира все познания, которые твой несложный мозг способен воспринять при помощи кончика твоего носа, черного, как трюфель. Этот мир я тоже разглядываю, сравниваю, изучаю, но ни ты, ни я никогда не узнаем, что мы здесь делаем и зачем мы здесь. Что мы здесь делаем, ну-ка, скажи?

А так как он при этом несколько повысил голос, то песик посмотрел на него с тревогой. Г-н Бержере вернулся к мысли, занимавшей его раньше, и сказал служанке:

– Надо дать ему кличку.

Сложив руки на животе, она ответила смеясь, что это нетрудно.

Господин Бержере мысленно возразил, что все просто для простаков, но изощренные умы, рассматривающие явления с различных и многих сторон, недоступных для толпы, лишь с трудом принимают решения даже в мельчайших делах. И он стал приискивать название для этой одушевленной штучки, покусывавшей тем временем бахрому ковра.

«Все собачьи названия, – размышлял он, – сохранившиеся в трактатах наших старых ловчих, вроде дю Фуйю, и в стихах таких сельских поэтов, как Лафонтен, – Фино, Миро, Брифо, Раво, – относятся к охотничьим собакам, аристократии псарни, рыцарству собачьего общества. Собаку Улисса звали Аргус. Она тоже принадлежала к охотничьей породе. Гомер повествует нам об этом:

В ранние годы она гоняла зайчат на Итаке,
Ныне ж, на старости лет, зверя травить уж не в силах.

В данном случае все это не годится. Скорее подошли бы клички, которые старые девы обычно дают своим моськам, если бы эти клички не были по большей части такими претенциозными и дурацкими. Азор – звучит нелепо».

Так размышлял г-н Бержере и перебирал множество собачьих имен, не находя ни одного, которое пришлось бы ему по душе. Он решил было придумать сам, но у него не хватало воображения.

Наконец он спросил:

– Какой у нас сегодня день?

– Четверг, – отвечала Анжелика, – четверг, девятое число.

– Так почему бы нам не назвать его Четвергом, как Робинзон назвал своего негра Пятницей по той же причине? – предложил г-н Бержере.

– Как прикажете, сударь, – отвечала служанка, – но это не очень красиво.

– Так сами придумайте имя своему детенышу, потому что в конце концов ведь вы приведи сюда этого пса. – оказал г-н Бержере.

– О! Где уж мне. Мне не придумать, – отозвалась Анжелика. – Когда я увидела его на соломе в кухне, я позвала его: «Рике», – он бросился ко мне и стал тербить мои юбки.

– Вы назвали его – Рике! – воскликнул г-н Бержере. – Что же вы не сказали? Он Рике, и Рике он останется. Дело решенное. А теперь ступайте вместе со своим Рике и не мешайте мне работать.

– Сударь, – сказала Анжелика, – я пока оставлю вам собаку, а когда

вернусь с рынка, заберу ее.

– Вы отлично можете взять ее с собой на рынок, – возразил г-н Бержере.

– Но я, сударь, пойду еще в церковь.

Анжелика действительно собиралась зайти в ризницу св. Экзюлера заказать обедню за упокой души мужа. Она делала это неизменно раз в год, хотя и не была оповещена о смерти Борниша, о котором вообще не получала никаких вестей, после того как он покинул ее. Но в голове старушки прочно засела мысль, что Борниш умер. В силу этого она уже могла быть покойной, что он не явится отнимать у нее ее крохотные сбережения, и, насколько позволяли ее средства, старалась облегчить ему пребывание на том свете, лишь бы он оставил ее в покое на этом.

– Так заприте ее в кухне, – сказал г-н Бержере, – или в любом другом подходящем месте и не бес...

Он не dokonчил фразы, заметив, что Анжелика уже ушла. Она не без умысла оставила Рике у хозяина, притворившись, будто не слышит его последних слов. Она хотела приучить их друг к другу и дать приятеля бедному г-ну Бержере, у которого приятелей не было. Закрыв за собой дверь, она проскользнула в коридор и спустилась вниз.

Господин Бержере снова принялся за работу и ушел с головой в своего «Virgilius nauticus». Занятие это было ему приятно. Это был отдых мысли, своего рода игра в его вкусе, игра, в которую играешь сам с собой, развлекаясь раскладыванием карт. Ибо перед ним на столе стояли ящики с изрядной колодой карточек. И вот, в то время как он аккуратно разносил флот Энея по отдельным частям на отдельные карточки, он почувствовал, что его словно кто-то колотит по ноге маленькими кулачонками. Рике, про которого он забыл, Рике, стоя на задних лапах и виляя хвостиком, похлопывал его по колену передними лапами. Утомившись, Рике соскользнул вниз по брюкам, затем снова стал на задние лапы и опять принялся за похлопывания. Г-н Бержере, отведя голову от своей бумажной науки, увидел два карих глаза, смотревшие на него с симпатией.

«Этим собачьим взглядам, – думал он, – придает человеческую красоту смена веселой живости и серьезного спокойствия, а также то, что в них находит некое выражение маленькая душа, душа созерцательная, мысли которой не лишены устойчивости и глубины. Мой отец любил кошек, и я любил их по его примеру. Он заявлял, что кошки лучшие сотоварищи ученого, так как уважают его труд. Баязет, его ангорский кот, проводил ночи, лежа четыре часа подряд на углу его стола, великолепный в своей неподвижности. Я помню агатовые глаза Баязета; но в этих глазах-

самоцветах, глазах с затаенной мыслью, в этом взгляде совы было столько холода и жестокости и вероломства! И куда мне милее влажный взгляд собаки!

Тут Рике отчаянно заработал в воздухе передними лапами. А г-н Бержере, жаждавший вернуться к своим филологическим развлечениям, сказал ему добрым, но строгим голосом:

– Рике, ступайте на место!

В ответ на это Рике ткнулся мордой в дверь, через которую вышла Анжелика. Там он постоял некоторое время, изредка нарушая тишину смиренным повизгиванием. Затем он стал топтаться на месте, и когти его производили на паркете легкое цирканье. Потом опять слабый визг, и опять цирканье. Г-н Бержере, потревоженный в своих занятиях этими перемежающимися звуками, сказал повелительно:

– Рике, смирно!

Рике окинул г-на Бержере долгим, несколько грустным взглядом своих карих глаз. Затем он сел на задние лапы, снова взглянул на г-на Бержере, встал, повернулся к двери, обнюхал порог и опять стал повизгивать, жалобно и покорно.

– Хочешь выйти? – спросил г-н Бержере.

И положив перо, хозяин покинул кресло, направился к двери и приоткрыл ее на три-четыре пальца. Тогда Рике, убедившись, что ему ничто не грозит, пролез в открытый перед ним проход и удалился со спокойствием, почти невежливым.

Господин Бержере, отличавшийся щепетильностью, призадумался над этим на обратном пути к своему столу:

«Я готов был уже поставить в упрек этому псу то, что он ушел, не поблагодарив и не простившись, готов был ждать от него извинений перед уходом. Эту глупость внушил мне его прекрасный человеческий взгляд. Я отнесся к нему, как к существу мне подобному».

После такого размышления г-н Бержере снова погрузился в метаморфозы Энеевых кораблей, прелестную народную сказку, быть может слишком наивную для такого высокого стиля. Но это не смущало г-на Бержере. Он знал, что нянюшкины сказки дают поэтам почти весь материал для их эпического творчества, что Вергилий благоговейно собрал в своей поэме загадки, каламбуры, грубые побасенки и ребячьи вымыслы предков, а Гомер, учитель Вергилия и учитель всех певцов, только пересказал то, что рассказывали до него в течение тысячи и более лет ионийские старушки и рыбаки с островов. Но это было для него сейчас второстепенным делом. Его тревожило совсем другое. В одном

очаровательном рассказе о метаморфозах ему попало выражение, смысл которого ускользал от него. И это его смущало.

– Бержере, друг мой, – сказал он себе, – вот где надо смотреть в оба и доказать свою проницательность. Подумай о том, что Вергилий очень пунктуален, когда касается техники какого-либо мастерства. Помни, что он занимался судоходством в Байях, что он был сведущ в кораблестроении и, следовательно, в данном месте выразился совершенно точно.

Господин Бержере тщательно сопоставил множество текстов, чтобы установить смысл малопонятного ему слова, требовавшего объяснения. Он уже добился некоторой ясности или по крайней мере обнаружил какие-то проблески, когда за дверью послышалось царапанье когтей, впрочем не заключающее в себе ничего устрашающего. Вскоре к этому шуму присоединилось пронзительное и звонкое повизгивание, и г-н Бержере, оторвавшись от филологических изысканий, предположил без труда, что эти назойливые звуки производит Рике.

Действительно, тщетно поискав Анжелику в квартире, Рике почувствовал желание снова увидеть г-на Бержере. Он настолько же тяготился одиночеством, насколько дорожил обществом людей. Как для прекращения шума, так и из затаенного желания вновь взглянуть на Рике, г-н Бержере покинул кресло и пошел открыть дверь. Рике так же спокойно вернулся в кабинет, как и вышел из него. Но как только дверь закрылась за ним, он загрустил и стал бродить по комнате как неприкаянный. То он вдруг принимался с любопытством искать что-то под мебелью и шумно сопеть, то шнырял без цели или смиренно усаживался в углу, как нищий на церковной паперти. Наконец он залаял на гипсового Гермеса, стоявшего на камине.

Тогда г-н Бержере обратился к нему со следующей речью, полной справедливых упреков:

– Рике, эта бесцельная суетливость, это сопение и этот лай более уместны в конюшне, чем в кабинете профессора. Твои предки, по-видимому, ютились вместе с лошадьми и разделяли с ними их подстилку. Я не ставлю тебе этого в упрек: вполне естественно, что вместе с их гладкой шерстью, их телом колбаской и их удлинённой мордой ты унаследовал их нравы и склонности. Не стану говорить о твоих карих глазах, ибо мало найдется людей и даже мало собак, которые смотрели бы на белый свет такими прекрасными глазами. Но в остальном, мой милый, ты конюх, конюх с головы до пят, коротконожка и раскоряка. Скажу еще раз: я не презираю тебя за это. Я говорю это, дабы ты знал, что, если ты хочешь жить со мной, то должен бросить свои конюшечные повадки и усвоить

манеры scholar'a,^[34] то есть соблюдать спокойствие и молчание и уважать труд по примеру Баязета, который по ночам четыре часа подряд не пошевелившись следил за тем, как перо моего отца бегало по бумаге. Баязет был замкнутое и сдержанное существо. Явная противоположность тебе, друг мой! С тех пор как ты вступил в эту посвященную науке комнату, твой хриплый голос, твои неуместные посапывания, твой визг, похожий на свисток паровой машины, звуки, которые ты производишь когтями, скрипящими как шарикоподшипники и цепи, трепетание всего твоего маленького механизма беспрестанно путают мои мысли, прерывают мои размышления. И вот сейчас благодаря твоему лаю от меня ускользнул смысл одного важного места из Сервия о кормовой части Энеева корабля. Знай же, друг мой Рике, что здесь обиталище молчания и приют раздумья. И если ты хочешь здесь жить, то превратись в библиотекаря. Храни молчание!

Так говорил г-н Бержере. Рике, выслушав эту речь до конца с безмолвным вниманием, приблизился к хозяину и умоляющим жестом положил робкую лапу на его колено, как бы воздавая ему поклонение по древнему обычаю. Г-н Бержере благожелательно взял его за загривок и положил позади себя на подушку глубокого кресла. Рике трижды перевернулся в этом маленьком пространстве и улегся. Он лежал молча, спокойно. Он был счастлив. Г-н Бержере был ему за это признателен. И, роясь в книге Сервия, он иногда проводил рукой по короткой шерсти, хотя и не тонкой, но гладкой и приятной наощупь. А Рике, погруженный в полудремоту, сообщал хозяину приятную теплоту, мягкий отрадный жар одушевленных существ. Г-н Бержере работал теперь над своим «Virgilius nauticus» с большим удовольствием, чем обычно.

Он установил в своем кабинете еловые полки, доходившие до потолка и заполненные обдуманно расставленными книгами. Он охватывал, их все одним взглядом, – все, что дошло до нас от латинской мысли, было у него под рукой. Греки теснились на средних полках. В укромном и удобном для пользования уголке стояли Рабле, превосходные рассказчики «Ста новых новелл», Бонавентура Деперье, Гийом Буше, все старинные французские повествователи, которые, по мнению г-на Бержере, были ближе человечеству, чем высокоумные авторы и которых он охотнее всего читая в часы досуга. Их произведения имелись у него лишь в современных и ходовых изданиях, но по его заказу скромный местный переплетчик обклеил эти экземпляры листками из книги антифонов, и ему доставляло удовольствие смотреть на этих вольнословов, облаченных в

«Requiem'bi»^[35] и «Miserere».^[36] Это была единственная роскошь, единственная прихоть в его степенной библиотеке. Прочие книги были в бумажных обложках или же в простых потрепанных переплетах. Дружелюбное и бережное обхождение с ними хозяина придавало им приятный вид инструментов, аккуратно расставленных в мастерской трудолюбивого ремесленника. Сочинения по археологии и искусству были устроены на самой верхней полке, разумеется не из презрения, а за меньшей надобностью.

И вот в то время как г-н Бержере разделял кресло с Рике и работал над своим «Virgilius nauticus», ему, по воле случая, понадобилось разрешить неожиданное затруднение и порыться в «Малом справочнике» Готфрида Мюллера, стоявшем под самым потолком.

Чтобы добраться до него, г-ну Бержере не нужна была одна из тех высоких лестниц на колесиках с балюстрадой и площадкой, что заведены в городской библиотеке и были в ходу в XVII, XVIII и XIX веках у прославленных библиофилов, из коих некоторым суждено было свалиться с этих лестниц и умереть достойной смертью, как описано в трактате, озаглавленном: «О библиофилах, умерших от падения с лестницы». Нет, конечно, у г-на Бержере не было надобности в таком сооружении. Его вполне удовлетворила бы складная стремянка в пять-шесть ступенек. Однажды у краснодеревца Клерамбо на улице Жозд ему попалась подобная лесенка, которая в сложенном виде выглядела довольно недурно, с гладко отесанными боковыми подпорками и с прорезом в форме трилистника для просовывания руки.

Господину Бержере очень хотелось приобрести эту стремянку. Однако он отказался из-за стесненного состояния своих дел. Никто на свете не знал лучше его, что денежные раны не смертельны; но это ничего не меняло: стремянки у него не было. Он пользовался вместо нее старым плетеным стулом, полукруглая спинка которого, некогда сломанная у верхушки, представляла собой два рога или две клешни, доставлявшие при пользовании этим предметом больше затруднений, чем удобства. Поэтому их спилили до уровня сидения, так что стул превратился в табуретку. Означенная табуретка не была пригодна для нужд г-на Бержере, и это по двум причинам. Во-первых, в камышовом сидении от долгого пользования образовалась впадина, и нога не имела прочной опоры. Во-вторых, табуретка была слишком низка: встав на нее и подняв руки, можно было лишь с трудом дотянуться кончиками пальцев до верхней полки. И по большей части при доставании книг несколько томов падало на пол, где они валялись с поврежденными углами, если были в переплетах, а не в

обложках, либо лежали раскрытые наподобие веера или гармоники.

И вот, намереваясь достать «Справочник» Готфрида Мюллера, г-н Бержере покинул кресло, где сидел вместе с Рике. Рике, который дремотно нежился в тепле, свернувшись комочком и уткнувшись головой в живот, приоткрыл упоенный наслаждением глаз и тотчас же сомкнул его. Г-н Бержере вытащил табуретку из темного угла, переставил ее на требуемое место, влез на нее и, встав на цыпочки и вытянув по возможности руки, ухитрился одним, а затем двумя пальцами прикоснуться к корешку книги, которую счел за ту, что была ему нужна. Большой палец при этом не достал до полки, и пользы от него не было никакой. Испытывая крайнее неудобство при извлечении книги, г-н Бержере пришел к выводу, что человеческая рука ценное орудие именно из-за большого пальца, противостоящего четырем остальным, и что людям не были бы доступны искусства, если бы у них было четыре ноги и не было рук.

«Только своей руке, размышлял он, мы обязаны тем, что стали конструкторами машин, живописцами, книжниками, словом научились манипулировать всякими предметами. Если бы большой палец не отстоял от остальных, люди были бы в таком же затруднении, как я теперь, и не смогли бы изменить лица вселенной. Безусловно, форма руки обеспечила человеку власть над миром».

Но почти тотчас же г-н Бержере подумал о том, что у обезьян четыре руки и они тем не менее не создали искусств и не приспособили землю к собственным потребностям. И он вычеркнул в своем мозгу теорию, которую только что начертал. Тем временем он, как мог, орудовал двумя пальцами. Надо заметить, что «Малый справочник» Готфрида Мюллера состоит из трех томов и атласа. Г-ну Бержере нужен был первый том. Он извлек сперва второй том, затем атлас, потом третий том и, наконец, первый. Он взял этот том. Ему оставалось только спуститься, когда камышовое сидение не выдержало, и нога г-на Бержере провалилась. Потеряв равновесие, он упал на пол, однако же не так стремительно, как можно было опасаться, потому что замедлил падение, ухватившись за стенку стеллажа.

Во всяком случае он, к удивлению своему, очутился на полу со вздетым на ногу продырявленным стулом, испытывая тупую боль во всем теле, вскоре ставшую более резкой в локте и в левом бедре, на которые он упал. Но так как его органы не были особенно повреждены, то он пришел в себя и уже собрался вытащить правую ногу из табурета, так злополучно ее обувшего, и приподняться по возможности на правом боку, который не болел. Он даже принялся это осуществлять, когда почувствовал теплое

дыхание на своей щеке. Взглянув в эту сторону расширенными от боли и страха глазами, он увидал подле своего лица мордочку Рике.

При шуме падения Рике соскочил с кресла и бросился к своему несчастному хозяину. Охваченный смятением, он юлил подле г-на Бержере, подбегал, отступал. То он приближался, влекомый сочувствием, то отскакивал, страшась таинственной опасности. Он отлично понимал, что случилась беда, но ум его не обладал такой рассудительностью, чтобы осознать ее причины: это и заставляло его тревожиться. Преданность влекла его к страждущему другу, осторожность удерживала на краю рокового места. Наконец, ободренный восстановившейся тишиной и спокойствием, он обнял дрожащими передними лапами шею г-на Бержере и стал смотреть на него испуганным любящим взором. Поверженный хозяин улыбнулся, а собака лизнула ему кончик носа. Это очень ободрило г-на Бержере; он высвободил правую ногу, встал и направился к креслу, прихрамывая и улыбаясь.

Рике уже успел занять свое место. Глаза его сверкали сквозь узкую щель полусомкнутых век. Он, казалось, больше не думал о происшествии, причинившем им обоим такое волнение. Маленькое существо жило текущим моментом, не заботясь о минувших временах; происходило это не от недостатка памяти, – ибо Рике помнил не только свое прошлое, но и отдаленное прошлое своих предков и его голова, величиной с кулак, была богатым складом всяких полезных познаний, – а потому, что он не находил улады в воспоминаниях и память не была для него, как для г-на Бержере, божественной музой. Проведя рукой по короткой, гладкой шерсти своего приятеля, г-н Бержере изрек следующие сердечные слова:

– Пес! Ты поступил своим покоем, который должен быть тебе дорог, и пришел ко мне, когда я был повержен и потрясен. Ты не рассмеялся, как сделал бы на твоём месте всякий молодой индивид моей породы. Правда, тебе не свойственно чувство смешного, и природа представляется тебе либо в радужном, либо в страшном виде, но отнюдь не в комическом. И именно благодаря этому, благодаря твоей наивной серьезности, ты являешься самым надёжным сотоварищем, какого можно найти. Сперва я внушал тебе доверие и восхищение, а теперь внушаю жалость.

Пес! когда мы встретились в этой жизни, мы шли из отдаленных, очень отдаленных исходных пунктов мироздания. Мы принадлежали к двум различным видам существ, Я говорю это не для того, чтобы кичиться своим превосходством, а, напротив, из чувства вселенского братства. Мы знакомы с тобой менее двух часов. Рука моя не кормила тебя. Откуда взялось затаенное милосердие, вспыхнувшее в твоей крохотной душонке?

Твоя симпатия – дивная тайна. Я не отталкиваю ее. Спи, друг, на месте, облюбованном тобой!

Произнеся такую речь, г-н Бержере стал перелистывать «Справочник» Готфрида Мюллера, который он, руководясь каким-то довольно странным инстинктом, не выпустил из рук во время своего падения и после него. Итак, он перелистал книгу, но не нашел того, что искал.

Между тем от движений боль возобновилась.

«Вероятно, – подумал он, – я ушиб бок, и у меня кровоподтек на левом бедре. Подозреваю также, что сильно ободрал правую ногу. А в левом локте я чувствую острую боль. Но вправе ли я жаловаться на страдания, благодаря которым обрел друга?»

Так размышлял он, когда старая Анжелика, потная и запыхавшаяся, вошла в кабинет. Она сперва отворила дверь, а затем постучалась. Она никогда не входила без стука. Если она не стучала раньше, она стучала потом, ибо соблюдала благопристойность и знала, к чему обязывает приличие. Итак, она вошла, постучала и сказала:

– Сударь, я пришла за собакой.

Господину Бержере эти слова заметно не понравились. Он еще не успел разобраться в своих правах на Рике. Выходило, что у него не было никаких прав, и он опечалился при мысли, что г-жа Борниш может разлучить его с этим животным. Ибо в конце концов Рике принадлежал г-же Борниш. Он отвечал с напускным безразличием:

– Он спит, дайте ему поспать.

– Я даже не вижу его, – сказала Анжелика.

– Он тут, в глубине кресла, – ответил г-н Бержере.

Старая Анжелика, сложив руки на толстом животе, улыбнулась и сказала с добродушной насмешкой:

– Не пойму, сударь, какое удовольствие этому животному спать за вашей спиной?

– Это его дело, – возразил г-н Бержере.

Но так как он обладал критическим умом, то тотчас же стал искать мотивы, которыми руководился Рике, и, найдя их, поведал служанке с присущей ему искренностью:

– Я согреваю его, и мое присутствие разгоняет его страхи. Этот маленький приятель – ручной и зябкий зверек.

И г-н Бержере добавил:

– Знаете, Анжелика... Я куплю ему ошейник.

VII

Ректор, г-н Летерье, служитель абсолютной истины и философ-спиритуалист, никогда не питал особой симпатии к критическому уму г-на Бержере. Но одно достопамятное обстоятельство сблизило их. Г-н Летерье высказался по поводу «Дела». Он подписал протест против приговора, который по совести считал незаконным и ошибочным. Это тотчас навлекло на него общественный гнев и презрение.

В городе, насчитывавшем сто пятьдесят тысяч жителей, было помимо него только четыре лица, разделявших его мнение о «Деле»: г-н Бержере, его коллега по факультету, два артиллерийских офицера и г-н Эзеб Буле. Но даже из этих четырех лиц офицеры хранили полное молчание, а г-н Эзеб Буле, главный редактор «Маяка», был вынужден, в силу профессиональных интересов, ежедневно высказывать с остервенением взгляды, противоречившие его собственным, поносить г-на Летерье и восстанавливать против него порядочных людей.

Господин Бержере написал своему ректору поздравительное письмо. Г-н Летерье сделал ему визит.

– Не думаете ли вы, – сказал г-н Летерье, – что истина заключает в себе силу, которая рано или поздно делает ее непобедимой и обеспечивает ей окончательное торжество? Такого мнения придерживался прославленный Эрнест Ренан, и такое же мнение было высказано недавно словами, достойными быть вырезанными на бронзе.

– Я думаю иначе, – отвечал г-н Бержере. – Напротив, по-моему, истине чаще всего суждено бесславно гибнуть, вызывая лишь презрение и нападки. В доказательство я могу привести множество случаев. Примите в расчет, что истина занимает невыгодное положение сравнительно с ложью и принуждена отступать перед нею. Во-первых, она едина; она едина, как говорит аббат Лантень, который восхищается этим ее свойством. А восхищаться тут решительно нечем. Ибо ложь многообразна, и на ее стороне численное превосходство. Это не единственный недостаток истины. Истина инертна. Она неспособна меняться; она не идет ни на какие сделки, которые позволили бы ей легко подчинить себе сознание людей или людские страсти. Ложь, напротив, располагает чудесными возможностями. Она податлива, она гибка. Более того, – скажем смело, – она естественна и нравственна. Она естественна потому, что представляет собой продукт наших чувств, служащих источником и вместилищем

иллюзий; она нравственна, поскольку согласуется с привычками людей, которые, ведя совместную жизнь, создали свои представления о добре и зле, свои божественные и человеческие законы, исходя из самых древних, самых святых, самых нелепых, самых возвышенных, самых варварских и самых неверных толкований всевозможных явлений природы. Ложь составляет у людей основу всякой добродетели и красоты. И действительно, мы видим, что их дворцы, их сады и их храмы украшены крылатыми фигурами и изображениями сверхъестественных существ. Они любят слушать только вымыслы поэтов. Что побуждает вас изгонять ложь и искать истину? Только любопытство слабосильных, только преступная дерзость интеллигентов может внушить подобную затею. Это – покушение на нравственную природу человека и на общественный строй. Это – оскорбление, нанесенное как душевным склонностям, так и добродетелям народов. Если бы развитие этого зла можно было ускорить, оно повлекло бы за собой роковые последствия. Оно разрушило бы все. Но мы видим, что в действительности оно очень незначительно и очень медленно и что истина никогда не причиняет лжи большого ущерба.

– Вы, повидимому, не имеете в виду научных истин. Их прогресс стремителен, неудержим и благотворен, – сказал г-н Летерье.

– К сожалению, несомненно, – возразил г-н Бержере, – что научные истины, дойдя до толпы, погружаются в нее, как в болото, тонут в ней, не проявляют себя и совершенно бессильны побороть заблуждения и предрассудки.

Лабораторные истины, пользующиеся над вами и надо мной высшей властью, не господствуют над народными массами. Приведу только один пример. Система Коперника и система Галилея совершенно несовместимы с христианской физикой. Вы, однако, видите, что она проникла во Францию и во всем мире даже в начальные школы, ни на йоту не изменив богословских понятий, которые должна была разрушить. Совершенно очевидно, что сравнительно с системой мира какого-либо Лапласа древняя иудейско-христианская теория о происхождении вселенной представляется столь же ребяческой, как планисфера на циферблате часов, которую смастерил какой-нибудь швейцарский ремесленник. Между тем, хотя теория Лапласа ясно изложена уже около ста лет тому назад, еврейские и халдейские сказочки о сотворении мира, занесенные в священные христианские книги, не утратили своей власти над людьми. Наука никогда не наносила ущерба религии, и сколько бы вы ни доказывали бессмысленность какого-нибудь религиозного обряда, вы не сократите числа лиц, которые будут его исполнять.

Для толпы научные истины непривлекательны. Народы, сударь, живут мифологией. Они извлекают из мифа все дознания, нужные им для жизни. Они не требовательны, и нескольких безобидных выдумок достаточно, чтобы позолотить существование миллионам. Короче сказать, истина не подчиняет себе людей. Да в это было бы прискорбно, ибо она противна как их духу, так и их интересам.

– Вы напоминаете греков, господин Бержере, – сказал ректор. – Вы сочиняете прекрасные софизмы, и ваши размышления звучат как мелодии на флейте Пана. Но я верю вместе с Ренаном, вместе с Эмилем Золя, что у истины есть сила убеждения, которой не обладают ни ошибки, ни ложь. Я говорю «истина», и вы меня, конечно, понимаете, господин Бержере. Ибо эти прекрасные слова «истина» и «справедливость» незачем определять, для того чтобы постигнуть их вечный смысл. Они сами в себе заключают сверкающую красоту и небесное сияние. А посему я верю в торжество истины. Это поддерживает меня в испытаниях, которые в данный момент выпали мне на долю.

– Хотелось бы, чтобы вы были правы, господин ректор, – отвечал Бержере. – Но вообще говоря, я думаю, что наше представление о фактах и о людях редко соответствует самим людям и фактам; мыслительные средства, позволяющие нам судить об этих соответствиях, несовершенны и недостаточны и, если со временем устанавливаются кой-какие новые соответствия, то еще больше их разрушается. Намой взгляд г-жа Ролан,^[37] сидя в тюрьме, обнаружила несколько наивную веру в человеческую справедливость, когда с таким мужеством и твердостью духа взывала к беспристрастию потомства. Потомство беспристрастно только тогда, когда оно равнодушно. И оно предаёт забвению то, что его больше не интересует. Оно отнюдь не судья, как полагала г-жа Ролан. Оно – толпа, слепая, изумленная, жалкая и яростная, как всякая толпа. Оно любит, но, главным образом, ненавидит. У него свои предрассудки; оно живет настоящим. Оно не знает прошлого. Суд потомства не существует.

– Однако же, – сказал г-н Летерье, – бывают также часы праведного суда и воздаяния.

– Считаете ли вы, – спросил г-н Бержере, – что такой час когда-либо пробьет для Макбета?

– Для Макбета?

– Для Макбета, сына Финлега, короля шотландского. Легенда и Шекспир, два великих властителя умов, сделали из него преступника. А я уверен, сударь, что он был отличным человеком. Он оградил сынов простого народа и сынов церкви от насилий знати. Он был бережливым

королем, справедливым судьей, другом ремесленников. Так утверждает хроника. Он не убивал короля Дункана. Его жена вовсе не была злобной. Она звалась Грюох. У нее были поводы для целых трех вендетт в отношении к роду Малькольмов. Ее первый муж был заживо сожжен в своем замке. У меня здесь на столе в одном английском журнале имеется достаточно материала, чтобы доказать добродетель Макбета и невиновность леди Макбет. Думаете ли вы, что, обнаружив эти доказательства, я изменю всеобщее мнение?

– Не думаю, – ответил г-н Летерье.

– Я тоже не думаю, – вздохнул г-н Бержере.

В этот момент на городской площади раздались выкрики. Это горожане, согласно усвоенной ими привычке, шли бить стекла у сапожника Мейера – из уважения к армии.

Они кричали: «Смерть Золя! Смерть Летерье! Смерть Бержере! Смерть жидам!» И так как ректор обнаружил при этом некоторую печаль и некоторое негодование, г-н Бержере заметил ему, что нужно правильно осмыслить энтузиазм толпы.

– Эта кучка, – сказал он, – идет бить стекла сапожнику. Она выполнит это без труда. Полагаете ли вы, что такая же толпа сумеет столь же легко вставить стекла или провести звонки у генерала Картье де Шальмо? Конечно, нет. Энтузиазм толпы не созидателен. Он по существу разрушителен. На сей раз он хочет сокрушить нас. Но не следует придавать данному частному случаю слишком большое значение. Лучше заняться общими законами, которые здесь проявляются.

– Пожалуй, – согласился г-н Летерье, представлявший собою олицетворение кротости. – Но все происходящее меня потрясает. Можем ли мы без прискорбья наблюдать, как восстает против справедливости и правды тот самый народ, который был для Европы и всего мира глашатаем прав и поучал законности всю вселенную?

VIII

Председатель суда г-н Касиньоль, скончавшийся на девяносто втором году жизни, был отвезен в церковь согласно его воле в катафалке для бедных. Это завещательное распоряжение было молчаливо осуждено всеми. Вся погребальная процессия втайне сочла себя обиженной этим, как знаком презрения к богатству, предмету всеобщего уважения, и как явным отказом от привилегии буржуазного класса. Вспоминали, что г-н Касиньоль всегда достойно содержал свой дом и до глубокой старости соблюдал строжайшую опрятность в одежде. Хотя все знали, что он постоянно был занят делами католических благотворительных учреждений, однако никто не применил к нему слов одного христианского оратора, сказавшего про кого-то: «Он так любил бедняков, что уподоблялся им». Поступок г-на Касиньоля не объясняли утрированным человеколюбием, а приписывали его парадоксальной гордыне и холодно взирали на такое высокомерное смирение.

Жалели также о том, что покойный, будучи кавалером ордена Почетного легиона, распорядился не оказывать ему никаких воинских почестей. Состояние умов, взбудораженных националистическими газетами, было таково, что вполне открыто выражалось сожаление об отсутствии на похоронах солдат. Генерал Картье де Шальмо, явившийся в штатском, был с почетом встречен депутацией адвокатов. Многочисленные представители судебного ведомства и духовенства теснились перед домом усопшего. И когда под унылый перезвон колоколов медленно двинулся к собору катафалк, предшествуемый крестом и церковным пением и сопровождаемый по бокам двенадцатью монахинями в белых чепцах, а позади – мальчиками и девочками из конгрегационных школ, все уяснили себе смысл этой долгой жизни, посвященной торжеству католической церкви. Весь город толпой следовал за гробом. Г-н Бержере шел в хвосте шествия. Архивариус Мазюр, приблизившись, шепнул ему на ухо:

– Я знал, что этот старый Касиньоль был при жизни завзятым палачом. Но я не думал, чтобы он был таким ханжой. Он выставял себя либералом!

– Он им и был, – отвечал г-н Бержере. – Он должен был им быть, потому что домогался власти. Ведь и те, кто добивается владычества, козыряют требованиями свободы. Но вы умиляете меня, господин Мазюр.

– Чем? – спросил г-н Мазюр.

– Тем, что вы наравне с толпой постоянно обнаруживаете трогательное

свойство поддаваться надувательству и усердно маршируете в процессии торжествующих простофиль.

– О! если вы имеете в виду «Дело», – энергично возразил г-н Мазюр, – то предупреждаю вас, что мы не споемся...

– Бержере, вы хорошо знаете этого священника? – спросил доктор Форнероль.

И он взглядом указал на проворного и жирного патера, протискивавшегося в толпе.

– Аббата Гитреля? – проговорил г-н Бержере. – Да кто же не знает Гитреля и его служанки! Им приписывают похождения, некогда рассказанные Лафонтеном и Боккаччо. На самом же деле служанка господина Гитреля достигла канонического возраста. Мне говорили, что этот священник, собирающийся вскоре стать епископом, как-то обронил фразу, которую я могу вам передать. Он сказал: «Если XVIII век следует назвать веком преступления, то XIX век может быть назван веком искупления. Гм!.. а может быть, аббат Гитрель и прав.

– Нет, – отвечал архивариус. – Число эмансипированных умов растет с каждым днем. Свобода совести завоевана раз и навсегда. Царство науки покоится на прочном основании. Но я боюсь контратаки клерикалов. Обстоятельства благоприятствуют реакции. Меня это тревожит. Я отношусь ко всему не так дилетантски, как вы. Я люблю республику тревожной и страстной любовью.

За такими разговорами они подошли к соборной ограде. Над лысыми, седыми, черными головами витали, несясь из теплого мрака сквозь широко открытый портал, звуки органа и благовоние ладана.

– Я не пойду внутрь, – сказал архивариус.

– А я войду на минутку, – отозвался г-н Бержере. – Я люблю церковные обряды.

Когда он вошел, в соборе гудели величественные строфы «Dies irae». [38] Г-н Бержере стал позади г-на Лапра-Теле. На левой стороне от алтаря, отведенной для женщин, он увидел г-жу де Громанс; темное платье оттеняло белизну ее кожи, ее глаза походили на цветы. В них не было даже проблеска мысли, и от этого она казалась г-ну Бержере особенно желанной. По обширному приделу разнесся голос певчего, возгласившего заупокойный гимн:

Qui latronem exaudieti
Et Mariam absolvisti,
Mihi quoque spem dedisti.

– Слышите, Форнероль, – сказал г-н Бержере. – Qui latronem exaudisti... «Ты, что внял разбойнику и простил грешницу, ты и мне подал надежду». Надо несомненно обладать известным душевным величием, чтобы вложить в уста целому скопищу людей подобные слова. Заслуга эта принадлежит тем суровым и кротким духовидцам Абруццских гор, тем нищим прислужникам нищих, которые отреклись от богатства, дабы избежать ненависти, порождаемой богатством. Эти приверженцы святого Франциска были плохими экономистами! Господин Мелин^[39] отнесся бы к ним с величайшим презрением, если бы ему довелось услышать о них.

– О! – заметил доктор, – значит, приверженцы святого Франциска предугадали состав сегодняшних посетителей собора!

– «Dies irae», насколько мне помнится, был сочинен в тринадцатом веке в одном францисканском монастыре, – сказал г-н Бержере. – Надо будет расспросить об этом моего любезного друга, командора Аспертини.

Тем временем панихида подходила к концу.

Следуя за колесницей, отвозившей на кладбище тело судьи, г-н Мазюр, доктор Форнероль и г-н Бержере продолжали беседу.

Когда они проходили мимо «дома королевы Маргариты», архивариус Мазюр сказал:

– Купчая подписана. Отныне Термондр собственник древнего обиталища Филиппа Трикульяра и размещает там свои коллекции с тайным намерением продать их когда-нибудь городу и прослыть благодаря этому его благодетелем. Кстати, Термондр наконец решил: он выставляет свою кандидатуру в Сейи от прогрессивных республиканцев, но всякому ясно, к какого рода прогрессу он направит республику. Это «присоединившийся».

– Разве правительство его не поддерживает? – спросил г-н Бержере.

– Его поддерживает префект, а супрефект его топит, – отвечал Мазюр. – Супрефектом Сейи руководит премьер-министр. А префект Вормс-Клавлен следует инструкциям министра внутренних дел.

– Видите эту лавку? – спросил доктор Форнероль.

– Лавку вдовы Леборнь, красильщицы? – отозвался Мазюр.

– Ее самой, – сказал доктор Форнероль... – Муж ее умер полтора месяца тому назад каким-то диковинным образом. Он умер в буквальном смысле от страха, остолбенев при одном виде собаки, которая показалась ему бешеной, а была не более бешеной, чем я.

Доктор Форнероль принялся рассказывать о смертях разных мужчин и женщин, к которым его призывали для врачебной помощи.

Господин Мазюр был вольнодумцем, но испытал при мысли о смерти большое желание обладать бессмертной душой.

– Я не верю ни единому слову из того, чему учат различные церкви, поделившие ныне между собой духовное владычество над народами, – сказал он. – Мне превосходно известно, как вырабатываются догмы, как они образуются и преобразуются. Но разве не может существовать внутри нас некое мыслящее начало, и разве оно должно непременно погибнуть вместе с сочетанием органических элементов, которое именуется жизнью?

– Мне бы хотелось, – сказал г-н Бержере, – спросить вас, что такое мыслящее начало, но боюсь поставить вас в затруднительное положение.

– Нисколько, – ответил г-н Мазюр. – Я имею в виду причину мысли или, если хотите, самую мысль. Почему бы мысли не быть бессмертной?

– Да, почему? – спросил в свою очередь г-н Бержере.

– Это предположение вовсе не абсурдно, – сказал ободренный г-н Мазюр.

– А почему бы, – спросил г-н Бержере, – какому-нибудь господину Дюпону не жить в доме номер тридцать восемь по улице Тентельри? Это предположение вовсе не абсурдно. Фамилия Дюпон – рядовая фамилия во Франции, а в доме, о котором я говорю, три корпуса.

– Вы всё шутите, – сказал г-н Мазюр.

– Я тоже по-своему спиритуалист, – вмешался в разговор доктор Форнероль. – Спиритуализм – терапевтическое средство, которым нельзя пренебрегать при теперешнем состоянии медицины. Все мои пациенты верят в бессмертие души и не любят шуток на этот счет. Добрые люди как на улице Тентельри, так и везде хотят быть бессмертными. Их огорчит, если им сказать, что они, может статься, вовсе и не бессмертны. Вы видите там госпожу Пешен, которая выходит из овощной лавки с помидорами в плетенке? А ну-ка, скажите ей: «Госпожа Пешенс вы будете наслаждаться небесным блаженством в продолжение миллиардов лет, но вы не бессмертны. Вы проживете дольше звезд и будете жить еще и тогда, когда туманности превратятся в солнца и когда солнца потухнут, и на непостижимом протяжении этих времен вы будете утопать в утрадах и сиянии. Но вы не бессмертны, госпожа Пешен!» Если вы ей так скажете, она отнюдь не примет это за приятное сообщение. А если, паче чаяния, вы подтвердите свои речи достаточно убедительными для нее доказательствами, бедная старушка будет огорчена, впадет в уныние и будет вкушать свои помидоры, приправляя их слезами.

Госпожа Пешен хочет быть бессмертной. Все мои пациенты хотят быть бессмертными. Вы, господин Мазюр, и вы сами, господин Бержере,

хотите быть бессмертными. И скажу вам еще, что неустойчивость – это основная черта всех сочетаний, из которых возникает жизнь. Жизнь... хотите, чтобы я определил ее научно? Это – неизвестное, которое испаряется чорт его знает куда.

– Конфуций – сказал г-н Бержере, – был человек рассудительный. Когда ученик его, Килу, спросил однажды, как надо служить Духам и Гениям, учитель ответил: «Если человек еще не в состоянии служить человечеству, то как может он служить Духам и Гениям?...» – «Позвольте мне, – продолжал ученик, – спросить вас, что такое смерть». И Конфуций отвечал: «Как нам знать, что такое смерть, когда мы не знаем, что такое жизнь?»

Процессия, двигавшаяся по Национальной улице, проходила мимо гимназии. Доктор Форнероль вспомнил дни своего отрочества и сказал:

– Здесь я учился. Это было давно. Я много старше всех вас. Мне исполнится через неделю пятьдесят шесть лет.

– Так действительно госпожа Пешен хочет жить вечно? – спросил г-н Бержере.

– Она не сомневается в своем бессмертии, – ответил доктор Форнероль. – Если бы вы стали ее разубеждать, она рассердилась бы на вас и не поверила бы.

– И ее нисколько не удивляет, – продолжал г-н Бержере, – что ей суждено бесконечное существование, несмотря на то, что все в мире преходяще? Как может она питать такие безмерные надежды? Должно быть, она недостаточно вдумывалась в природу вещей и в свойства жизни.

– Не все ли равно, – возразил доктор. – Чему же тут удивляться, дорогой господин Бержере? У этой доброй особы есть вера. Это, пожалуй, даже единственное, что у нее есть. Она католичка, так как родилась в католической стране. Она верит в то, чему ее учили. Это же естественно.

– Доктор, вы говорите, как Заира,^[40] – сказал г-н Бержере. – «Когда бы я жила у Гангских берегов...» Впрочем, вера в бессмертие души – обыденное явление в Европе, Америке и в части Азии. Она проникает и в Африку вместе с бумажными тканями.

– Тем лучше, – заметил доктор, – ибо она необходима для цивилизации. Без нее несчастливцы не примирились бы со своей судьбой.

– Однако китайские кули работают за мизерную плату, – возразил г-н Бержере. – Они терпеливы и безропотны, но нисколько не спиритуалисты.

– Потому что они желтокожие, – сказал доктор Форнероль. – Белые люди не так покорны своей доле. Они носят в себе некий идеал справедливости и возвышенные надежды. Генерал Картье де Шальмо прав,

когда говорит, что армии необходима вера в загробную жизнь. Эта вера также очень полезна с точки зрения общественных нравов. Если бы люди не боялись ада, на свете было бы меньше честности.

– А вы, доктор, верите в то, что воскреснете? – спросил г-н Бержере.

– Ко мне это не относится, – ответил доктор. – Мне не надо верить в бога, чтобы быть честным человеком. В вопросах религии я, как ученый, не верю ни во что, а как гражданин, верю во все. Я государственный католик. Я считаю, что религиозные идеи служат нравственности и внедряют в простой народ гуманные чувства.

– Это очень распространенное воззрение, – сказал г-н Бержере. – И оно не внушает мне доверия именно из-за своей популярности. Общеизвестных взглядов никто не критикует. Если бы их обсуждать, большинство из них пришлось бы отвергнуть. Это напоминает рассказ о том театральном спектакле, который в течение двадцати лет проходил во Французскую комедию, рекомендуясь контролеру: «Покойный Скриб^[41]». Такая мотивировка не выдержала бы критики, но никто ее не критиковал. Как можно считать, что религиозные идеи служат проводником нравственности, когда вся история христианских народов соткана из войн, резни и пыток? Вы, вероятно, не требуете, чтобы миряне были благочестивее монахов. А между тем монахи всех оттенков – белые и черные, пегие и серые – запятнали себя самыми отвратительными преступлениями. Соратники инквизиции и иереи Лиги были благочестивы и в то же время жестоки. Я не говорю о папах, затопивших мир в крови, так как неизвестно, верили ли они в загробную жизнь. Вся суть в том, что люди – злобные животные и остаются злобными, даже твердо надеясь перейти из этого мира в другой, что уж совсем неразумно, если только вдуматься. Тем не менее не заключайте из этого, доктор, что я отказываю госпоже Пешен в праве считать себя бессмертной. Могу даже привести в ее пользу еще тот довод, что она не испытывает разочарования, покидая эту жизнь: длительная иллюзия обладает всеми атрибутами правды, и никогда не чувствуешь себя обманутым, если тебя не вывели из заблуждения.

Передние ряды процессии уже вступили на кладбище. Трое собеседников замедлили шаг.

– Если бы вы, господин Бержере, как я, каждое утро посещали десятка два больных, вы поняли бы, в чем сила священников. Да сами вы разве не ловите себя иногда пускай не на вере в бессмертие, так на желании стать бессмертным.

– В этой области, доктор, я разделяю взгляда госпожи Дюпон-Деланьо, – отвечал г-н Бержере. – Госпожа Дюпон-Деланьо была очень

глубокой старухой, когда мой отец был еще очень молодым! Она весьма любила его и охотно с ним беседовала. Благодаря ей он как бы проникал в восемнадцатый век. Из его уст я почерпнул некоторые суждения этой дамы, и в том числе следующее. Когда она однажды заболела у себя в имении, священник посетил ее и заговорил с ней о будущей жизни. Она ответила, презрительно сжав губы, что не питает доверия к загробному миру. «Вы утверждаете, – добавила она, – что его создал тот, кто создал и наш мир. Так можете сами судить о качестве его работы». Я, доктор, питаю по меньшей мере такое же недоверие, как и госпожа Дюпон-Деланьо.

– Но неужели вы никогда не мечтали о бессмертии, завоеванном для нас наукой, о бессмертии среди небесных светил? – спросил доктор.

– Возвращаюсь к мысли, высказанной госпожой Дюпон-Деланьо, – ответил г-н Бержере. – Очень боюсь, что система Альгаира или Альдебарана^[42] ничуть не лучше солнечной и я ничего не выгадаю от перемены местожительства. А в отношении того, чтобы возродиться на этом шарике, – увольте, доктор.

– Так вам в самом деле не хочется, как госпоже Пешен, быть бессмертным в том или ином виде? – спросил доктор Форнероль.

– По зрелом размышлении, – отвечал г-н Бержере, – я вполне удовлетворен тем, что я вечен, действительно вечен как вещество. Что же касается сознания, которым я наделен, то оно – случайность, доктор, минутное явление, подобное пузырьку на воде.

– Согласен, – сказал доктор. – Но говорить так не следует.

– Почему? – спросил г-н Бержере.

– Потому что эти взгляды не приноровлены для широкого большинства, и раз уж вы не можете думать заодно с толпой, то будьте с нею заодно по крайней мере в своих высказываниях. Ведь общность верований и есть то, что создает силу народов.

– Верно лишь то, – отвечал г-н Бержере, – что люди, воодушевленные общей верой, прежде всего бросаются истреблять тех, кто думает иначе, особенно если разница во взглядах не так уж велика.

– Нам предстоит выслушать три речи, – заметил г-н Мазюр.

Но г-н Мазюр ошибся. Было произнесено пять речей, причем никто ничего не слышал. Когда проходил генерал Картье де Шальмо, его сопровождали возгласы: «Да здравствует армия!» Г-на Летерье и г-на Бержере преследовало улюлюканье националистической молодежи.

IX

В сырой майский вечер дамы де Бресе вязали в большой гостиной фуфайки для детей бедняков. Престарелая г-жа де Куртре, стоя спиной к камину и подобрав платье, грела себе ноги. Г-н де Бресе, генерал Картье де Шальмо и г-н Лерон беседовали в ожидании виста.

Господин де Бресе развернул вчерашнюю газету, валящуюся на столе.

– Серьезные военные действия между Испанией и Америкой еще не начались, – сказал он. – Чем, по-вашему, кончится война, генерал? Любопытно бы знать мнение такого выдающегося военного деятеля, как вы.

– О, да, генерал, – поддержал его г-н Лерон, – было бы чрезвычайно важно познакомиться с тем, как вы расцениваете соотношение сил, которым предстоит столкнуться на Антильских островах и в китайских водах.

Генерал Картье де Шальмо провел рукой по лбу, открыл рот и после довольно долгой паузы произнес авторитетным тоном:

– Объявив войну Испании, американцы совершили неосторожность, которая может им дорого обойтись. Не располагая ни сухопутной армией, ни военно-морскими силами, им будет трудно выдержать борьбу с хорошо обученной армией и опытными моряками. У них есть кочегары и механики, но кочегары и механики – это еще не военный флот.

– Вы верите, генерал, в успех испанцев? – спросил г-н Лерон.

– Вообще говоря, – ответил генерал, – успех кампании зависит от обстоятельств, которые невозможно предвидеть; но мы можем уже теперь констатировать, что американцы не подготовлены к войне. А война требует долгой подготовки.

– Так скажите же нам, генерал, – воскликнула г-жа де Куртре, – что эти бандиты американцы будут побеждены!

– Победа их маловероятна, – отвечал генерал. – Скажу даже, что она была бы парадоксальна и дерзко нарушила бы всю систему взглядов, которая в ходу у подлинно военных наций. Действительно, победа Соединенных Штатов явилась бы наглядным опровержением принципов, принятых во всей Европе самыми крупными военными авторитетами. Такого исхода нельзя ни ожидать, ни желать.

– Какое счастье! – воскликнула г-жа де Куртре, похлопывая себя костлявыми руками по старческим бедрам и потряхивая седой жесткой

шевелюрой, напоминавшей меховую тапку. – Какое счастье, наши друзья испанцы победят. Да здравствует король!

– Генерал, – сказал г-н Лерон, – я придаю вашим словам величайшее значение. Военный успех наших соседей будет встречен во Франции с одобрением; и почем знать, не вызовет ли он и у нас подъем роялистского и религиозного движения?

– Позвольте, – сказал генерал, – я ничего не предсказываю. Успех кампании, повторяю, зависит от обстоятельств, которые невозможно предвидеть. Я рассматриваю только факторы, которые сейчас имеются налицо. И с этой точки зрения преимущество бесспорно на стороне Испании, хотя она и не располагает достаточным количеством морских, единиц.

– Судя по некоторым признакам, – заметил г-н де Бресе, – американцы как будто начинают раскаиваться в своей смелости. Передают, что они в ужасе. Они ждут со дня на день появления испанских броненосцев у берегов Атлантики. Жители Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии массами бегут в глубь страны. Царит всеобщая паника.

– Да здравствует король! – вскричала г-жа де Куртре со злобной радостью.

– А как маленькая Онорина? – спросил г-н Лерон. – По-прежнему Бельфейская божья мать благосклонно является ей в видениях?

Вдовствующая герцогиня де Бресе ответила с замешательством:

– Да, по-прежнему.

– Было бы очень желательно, – заявил бывший товарищ прокурора, – запротokolировать показания этой девочки о том, что она видит и слышит во время экстазов.

На это пожелание не последовало никакого ответа по той причине, что, взявшись однажды записать карандашом откровения, которые Онорина приписывала святой девае, г-жа де Бресе почти тотчас же прекратила запись: девочка выражалась непристойными словами. Вдобавок священник Травьес, выслеживая каждую ночь кроликов в Ленонвильских лесах, слишком часто натыкался на Изидора и Онорину, лежавших вдвоем на ворохе сухих листьев, и не было сомнений, что эти дети круглый год предавались тому, чему животные вокруг них предаются в определенные месяцы. Г-н Травьес был немножко браконьером. Но он не грешил ни в отношении добрых нравов, ни в отношении веры. Исходя из этих повторных наблюдений, он признал невероятным, чтобы святая дева являлась Онорине.

Он поведал обо всем дамам в замке которых его сообщение хотя и не

убедило, но очень смутило. Поэтому, когда г-н Лерон осведомился о подробностях последних экстазов Онорины, они перевели разговор на другую тему.

– Мы можем сообщить вам последние новости из Лурда,^[43] – сказала вдовствующая герцогиня.

– Племянник пишет мне о множестве чудес, совершающихся в пещере, – добавил г-н де Бресе.

– Я тоже, – заявил генерал, – слышал об этом от одного из моих офицеров, очень достойного молодого человека. Он вернулся из Лурда совершенно пораженный тем, что там видел.

– А знаете, генерал, – сказал г-н де Бресе, – врачи, состоящие при водоеме, подтвердили эти чудесные исцеления.

– Чтобы верить в чудеса, свидетельство ученых совершенно не нужно, – заметила герцогиня де Бресе с ясной улыбкой. – Я больше доверяю святой деве, чем врачам.

Затем заговорили о «Деле». Удивлялись наглости, которую безнаказанно проявлял синдикат изменников. Г-н де Бресе с большой убежденностью выразил свою мысль:

– После того как два военных трибунала вынесли свой приговор, в чем же тут сомневаться!

– Слыхали ли вы, – сказала герцогиня, – что ясновидящая нашего города, мадемуазель Денизе, узнала из уст святой Радегунды о том, что Золя намерен перейти в итальянское подданство и больше не вернется во Францию?

Это вызвало всеобщее одобрение.

Лакей принес газеты.

– Нет ли свежих известий о войне? – сказал г-н де Бресе, разворачивая листок.

И среди общего молчания он громко прочел:

– «Коммодор Дьюи уничтожил испанский флот в Манильском порту. Американцы не потеряли ни одного человека».

Эта депеша подействовала на всех подавляюще. Только г-жа де Куртре не колеблясь объявила:

– Неправда!

– Депеша из американского источника, – заметил г-н Лерон.

– Да, – отозвался г-н де Бресе. – Надо остерегаться ложных сообщений.

Все с этим согласились. Однако души их были удручены: перед ними витал призрак флота, который получил благословение папы, плавал под

штандартом католического короля, украсил свои корабельные носы именами богородицы и разных святых, а теперь был побежден, разнесен вдребезги, пущен на дно орудиями этих свиноторговцев и фабрикантов швейных машин, еретиков, без короля, без принцев, без прошлого, без родины, без армии.

Господин Бержере тревожился о состоянии своих дел и боялся впасть в немилость, когда неожиданно получил уведомление, что он назначен ординарным профессором. Назначение застало его после переезда в новое жилище на площади св. Экзюпера в такой момент, когда он меньше всего его ожидал. Он испытал большую радость, чем, казалось, позволяло стоическое спокойствие духа, которое он так успешно стал было усваивать. Его обуяли смутные и радужные надежды, и он улыбался широкой улыбкой, когда г-н Губен, самый его любимый ученик после измены г-на Ру, как всегда, зашел за ним вечером, чтобы сопровождать его в кафе «Комедия».

Ночь сверкала звездами. Г-н Бержере, ступая по острым камням мостовой, глядел на небо. И так как он питал пристрастие к занимательной астрономии, то концом трости указал г-ну Губену на красивую красную звезду в направлении созвездия Близнецов.

– Это Марс, – сказал он. – Хорошо было бы изобрести такой сильный телескоп, чтоб можно было видеть обитателей этой планеты и чем они занимаются!

– Да вы же сами недавно говорили мне, дорогой учитель, – ответил г-н Губен, – что планета Марс не населена, что небесные миры необитаемы и жизнь, по крайней мере такая, как мы ее себе представляем, – это болезнь, присущая только нашей планете, плесень на поверхности растленной земли.

– Разве я так говорил? – удивился г-н Бержере.

– Конечно, говорили, дорогой учитель, – ответил г-н Губен.

Он не ошибся: после измены г-на Ру Бержере решительно заявил, что органическая жизнь – это плесень, разлагающая поверхность нашего больного светила. Он выразил также надежду, что, к чести мироздания, жизнь в отдаленных мирах проявляется нормально в геометрических формах кристаллизации. «Если бы не так, – присовокупил он, – мне не доставляло бы никакого удовольствия созерцать по ночам звездное небо». Но теперь он придерживался противоположного мнения.

– Вы меня удивляете, – сказал он г-ну Губену. – Есть некоторые основания предполагать, что все эти солнца, сияющие нам с небес, освещают и согревают вокруг себя чью-то жизнь и чью-то мысль. Даже на земле жизнь облекается иногда в приятные формы, а мысль – божественна.

Мне было бы любопытно побольше узнать об этой сестре земли, плавающей вокруг солнца в невесомом эфире. Она наша соседка, нас отделяют всего каких-нибудь четырнадцать миллионов миль, но это очень немного для небесных пространств. Я хотел бы знать, красивей ли и умнее ли нас обитатели Марса.

– Этого нам никогда не узнать, – отозвался г-н Губен, протирая стекла пенсне.

– Во всяком случае, – ответил г-н Бержере, – астрономы изучили конфигурацию этой красной планеты, насколько позволяют сильные телескопы, и пришли к единодушному выводу, что там имеются бесчисленные каналы. В конечном счете совокупность гипотез, которые, поддерживая и дополняя друг друга, образуют великую науку о мироздании, заставляет нас думать, что эта соседняя планета древнее земли, а потому мы вправе считать, что ее обитатели, будучи старше нас, тем самым и разумнее. Эти каналы, прорезая обширные материки, придают им сходство с Ломбардией. В сущности мы не видим ни воды, ни берегов, а только окаймляющую их растительность, которая представляется наблюдателю в виде неясной, смутной линии, то более бледной, то более темной, смотря по времени года. Они сосредоточены, главным образом, у экватора планеты. Мы даем им земные названия: Ганг, Еврип, Фисон, Нил, Орк.^[44] Это оросительные каналы, вроде тех, которые проводил Леонардо да Винчи, обнаруживая, говорят, талант превосходного инженера. Их направление всегда прямое: круглые водоемы, в которые они впадают, ясно свидетельствуют о том, что это искусственные сооружения и плод геометрической мысли. Природа тоже геометр, но иного рода. Марсианский канал, именуемый у нас на земле Орком, чудо из чудес: он проходит через маленькие круглые озера, расположенные на равном расстоянии друг от друга, что придает ему сходство с четками. Каналы Марса несомненно прорыты мыслящими существами.

Так г-н Бержере населял мир пленительными образами и возвышенными идеями. Он заполнял пустоты небесных глубин, потому что его в это утро назначили ординарным профессором. Он был преисполнен мудрости, но он был человек.

Вернувшись домой, он нашел у себя такое письмо:

«Милан...

Милостивый государь и дорогой друг!

Вы переоценили мои знания. К сожалению, не могу удовлетворить вашу любознательность в отношении вопроса,

возникшего у вас, как вы говорите, на похоронах г-на Касиньоля.

Я занимаюсь нашими старинными литургическими песнопениями лишь в той мере, в какой они так или иначе соприкасаются с дантовской литературой, а потому не могу сообщить вам о заупокойном гимне ничего такого, чего бы вы не знали.

Самое раннее упоминание о нем встречается у Бартоломео Пизано до 1401 года. Марони приписывает «Dies irae» Франджипани Малабранка Орсини, посвященному в сан кардинала в 1278 году. Ваддинг, историк серафического ордена, считает автором гимна фра Томазо да Челано, qui floruit sub anno 1250.^[45]

Искаженный текст римского требника пострадал еще больше в XVII веке. На мраморной плите, сохранившейся в мантуанской церкви Сан-Франческо, уцелел более старинный и лучше сохранившийся вариант гимна. Если вам угодно, я велю списать для вас текст, которым украшен этот *marior mantuanum*.^[46] Вы доставите мне удовольствие, располагая мной в данном случае, как и во всех прочих. Для меня нет ничего приятнее на свете, чем оказать вам услугу.

Взамен не откажите в любезности списать для меня письмо Мабильона, хранящееся в библиотеке вашего города, вклад Жолиета, папка Б, номер 3715⁸, лист 70. Интересующий меня отрывок этого письма относится к «Anecdota»^[47] Муратори. Список будет для меня еще ценнее тем, что я получу его от вас.

Скажу вам кстати, что Муратори не верил в бога. Мне давно уже хочется написать книгу о богословах-безбожниках, число которых довольно значительно. Простите, что утруждаю вас этими розысками в библиотеке. Пусть вознаградит вас за это встреча с златокудрой нимфой-привратницей, которая внимает зардевшимися ушками любовным речам, раскачивая на концах пальцев огромные ключи от ваших старинных сокровищ. Эта нимфа напоминает мне о том, что дни любви для меня прошли и наступила пора посвятить себя изысканным порокам. Жизнь поистине была бы слишком печальной, если бы розовый рой игривых мыслей не служил иногда утехой старости для добропорядочных людей. Могу поделиться с вами этим мудрым выводом, – ваш редкий ум способен его понять.

Если вы побываете во Флоренции, я покажу вам музу, которая охраняет дом Данте и может потягаться с вашей нимфой. Вы придете в восторг от ее рыжих волос, черных глаз, роскошного бюста и признаете, что ее нос – настоящее чудо. Он средней величины, прямой, тонкий, с трепещущими ноздрями. Я отмечаю это особо, так как носы редко удаются природе и, не умея их формировать, она частенько портит самые прелестные лица.

То письмо Мабильона, с которого я прошу вас снять копию, начинается словами: «Ни старческое утомление, сударь...» Простите мою назойливость и позвольте, любезный друг, выразить вам искреннее уважение и живейшую симпатию вашего покорного слуги

Карло Аспертини.

Почему французы упрямо не желают признать бесспорной юридической ошибки, которую им так легко исправить без ущерба для кого бы то ни было? Я тщетно стараюсь найти причину их упорства. Все мои соотечественники, вся Европа, весь мир разделяют мое недоумение. Мне было бы любопытно узнать ваш взгляд на это удивительное дело!

К. А.».

Ясным утром на казарменном дворе суетились дневальные, подметая землю и чистя лошадей. В глубине двора рядовой Бонмон в грязной блузе и холщовых штанах, стоя перед котлом с водой, чистил картошку вместе с рядовыми Коко и Брикбалем. То и дело какой-нибудь взвод под командой унтер-офицера вырывался потоком с лестницы, распространяя на своем пути неудержимое веселье молодых существ. Но что было у них самым замечательным, так это шаг, тяжелый и выработанный шаг людей, обученных маршировке, поступь сокрушительная и звонкая. Один за другим проносились важные каптенармусы, держа в руках пачки многочисленных и самых разнообразных реестров, больших и малых. Рядовые Бонмон, Коко и Брикбаль чистили картошку и бросали ее в котел. При этом Коко и Брикбаль изредка перекидывались словами и высказывали самые невинные мысли в самых грубых выражениях. А рядовой Бонмон был погружен в задумчивость.

Вокруг него, за решетками, окаймлявшими двор монументальных казарм, простиралась цепь холмов, где в лучах утреннего солнца сверкали белые виллы сквозь лиловые ветви деревьев. В них ютились актрисы и кокетки, которых привлек туда рядовой Бонмон. Целый сонм женщин вольного поведения, букмекеров, спортивных и военных хроникеров, маклаков, сводников, сводниц и шантажистов обосновался вокруг казарм, где отбывал воинскую повинность богатый солдатик. Чистя картошку, он мог бы похвастаться тем, что так далеко от Парижа собрал столь специфически парижское общество. Но он знал жизнь и людей, и эта слава не льстила ему. К тому же он был мрачен и озабочен. Его угнетало честолюбивое желание – раздобыть охотничью пуговицу Бресе. Он стремился к ней с алчностью, унаследованной от отца, с такою же силой, какую великий барон проявлял при захвате вещей, тел и душ, – но уже без того ясного и глубокого понимания, без того размаха, который был присущ его великому родителю. Он сам чувствовал, что его богатства ему не по плечу: это мучило его и озлобляло.

Он рассуждал:

«Не одним же герцогам и пэрам дают они свою охотничью пуговицу. В семье Бресе немало американок и евреек. Чем я хуже этой семейки?»

Он с озлоблением бросил в котел очищенную картофелину. Солдат Коко смачно выругался, смачно захохотал и крикнул Бонмону:

– Эй, повар! Бульон опрокинешь, чтоб тебя разорвало!

Эта шутка развеселила Брикбалья, простодушного малого, к тому же довольного тем, что срок его службы приходил к концу. Он радовался, что скоро увидит дом своего отца, шорника в Кайе.

«Этот старый ханжа Гитрель ничего для меня не сделает, – думал тем временем рядовой Бонмон. – Он ловкий пройдоха, ловчее, чем я думал. Как он поставил свои условия! – пока не будет епископом, не станет говорить со своими друзьями де Бресе. Ну и bestия!»

– Бонмон, – крикнул Брикбаль, – не швыряй очистки в котел!

– Это не по правилам, – заметил Коко.

– Я не дежурный, – возразил Бонмон.

Так перекидывались словами эти три человека, которых служба уравнила.

А Бонмон продолжал свои размышления:

«Обойдусь отлично и без Гитреля. На нем свет клином не сошелся, достанем охотничью пуговицу как-нибудь иначе. Прежде всего Термондр. Он бывает у Бресе. Он из хорошей семьи, благонамерен... но не солиден. Термондр тряпка, жалкая тряпка... без всякого влияния. Пообещает все, не сделает ничего.

Не обращаться же мне к священнику Травьесу, который охотится в компании браконьера Ривуара. Есть еще генерал Картье де Шальмо... Ему стоило бы только раскрыть рот... Но эта старая развалина меня терпеть не может...»

Так полагал рядовой Бонмон, и не без основания. Генерал Картье де Шальмо не любил его. Он обычно говаривал: «Будь этот молокосос Бонмон под моим началом, он бы ходил у меня по струнке». А генеральша Картье де Шальмо преследовала его своим негодованием, с тех пор как однажды на балу он сказал при ней: «Когда дело не касается нежных чувств, то маму ничем не раскачать». Бонмон не ошибался. Ему нечего было ждать услуги ни от генерала, ни от генеральши. Он порылся в своей памяти, перебирая, кто бы мог оказать ему одолжение, в котором отказал Гитрель. Господин Лерон? Слишком осторожен. Жак де Куртре? Он на Мадагаскаре. Бонмон тяжело вздохнул. Но когда он дочищал последнюю картофелину, его вдруг осенила мысль:

«А что, если я сам поставлю Гитреля епископом? Вот была бы штука!..»

В тот момент, когда это пришло ему на ум, над его ухом раздались проклятия.

– Черти! Дьяволы! Что за свинство! – заорали в один голос солдаты

Брикбаль и Коко под внезапным ливнем сажи, падавшим на них, вокруг них и в котел, пачкая им мокрые пальцы и загрязняя картофелины, бывшие перед этим белыми, как шары из слоновой кости.

Они подняли головы, чтоб обнаружить причину напасти, и сквозь струи черного потока увидели на крыше однополчан, которые, сняв длинную дымовую трубу, старательно вытряхивали скопившуюся там сажу. При виде этого Коко и Брикбаль оба заорали:

– Эй, вы, там, верхотурщики! Скоро вы кончите?

И они осыпали товарищей на крыше всеми бранными словами, какие только могут извергать наивные и чистосердечные души. Эта невинная ругань, выразившая искреннее негодование, залила двор казармы гулкими звуками пикардийского и бургундского наречия. Но вдруг на краю крыши появилось лицо с короткими усиками, и среди наступившего молчания пронзительный голос сержанта Лафиля гаркнул вниз:

– Обоих на три дня! Слышали?

Брикбаль и Коко замерли, подавленные ударами судьбы и закона. А рядовой Бонмон, их ровня, думал:

«Я и сам могу сделать епископа. Стоит мне только поговорить с Юге».

Юге был тогда председателем совета министров. Он возглавлял умеренный кабинет, который пользовался поддержкой правых, Составляя его, Юге успокоил опасения капиталистов, и сам обрел ясность духа, уверенность в себе и некоторую гордость. Он оставил за собой в своем кабинете портфель министра финансов, и его поздравляли с тем, что он упрочил кредит казны, поколебленный его предшественником радикалом.

Юге не всегда был государственным деятелем такого направления. Радикал и даже революционер в дни молодости и нужды, он нанялся в секретари к покойному барону де Бонмон, по поручению которого писал книги и руководил газетами. Он был в ту пору демократом и мистиком в области финансов. Барону такого и нужно было: великий барон старался привлечь на свою сторону передовые фракции парламента, и ему нравилось слыть непредубежденным человеком, даже до некоторой степени мечтателем. Он называл это про себя: «расширять поле действия». Он способствовал избранию своего секретаря депутатом от Монтиля. Юге был обязан ему всем.

И рядовой Бонмон, знавший об этом, говорил себе:

«Мне достаточно поговорить с Юге».

Так он пытался рассуждать, но, по правде говоря, без особой уверенности. Ибо он все же знал, что Юге, председатель совета министров, тщательно избегает всяких встреч с солдатом Бонмоном и не любит, чтобы

ему напоминали о прежних связях с великим финансистом, который, потеряв популярность, умер весьма вовремя среди глухого гула назревшего скандала.

И рядовой Бонмон благоразумно рассудил:

«Надо изобрести что-нибудь другое».

Чтобы поразмыслить на досуге, он уселся на землю подле насоса и вскоре погрузился в глубокое раздумье. Все лица, способные, как ему казалось, распорядиться посохом и митрой, потянулись длинной вереницей на зов его воображения. Перед ним проходили монсиньор Шарло, г-н Де Гуле, префект Вормс-Клавлен, г-жа Вормс-Клавлен, г-н Лакарель и многие другие, а за ними еще и еще. От этих мыслей его отвлек солдат Жуванси, кандидат прав, пустивший в ход насос и плеснувший ему воды за шиворот.

– Жуванси, – спросил его серьезным тоном Бонмон, вытирая затылок, – в каком министерстве Луайе?

– Луайе? Министр народного просвещения и культов, – отвечал Жуванси.

– Это он назначает епископов?

– Да.

– Наверняка?

– Да. А тебе зачем?

– Так... – сказал Бонмон.

И воскликнул про себя:

«Чорт побери, нашел!.. госпожа де Громанс!»

XII

В этот вечер г-н Летерье зашел к г-ну Бержере. Только лишь раздался звонок ректора, Рике соскочил с кресла, которое разделял с хозяином, и, глядя на дверь, свирепо залаял. А когда г-н Летерье вошел в кабинет, пес встретил его враждебным рычаньем. Эта объемистая фигура, это серьезное полное лицо, окаймленное седой бородой, были ему незнакомы.

– И ты, пес! – кротко пробормотал ректор.

– Извините его, – сказал г-н Бержере. – Рике домашнее животное. Когда люди, воспитывая эту звериную породу, формировали ее характер, они сами считали, что чужой – это враг. Они не внушали собакам человеколюбия. Идея вселенского братства не проникла в душу Рике. Он представитель древней стадии социального строя.

– О! очень древней, – заметил ректор. – Потому что теперь, как всякому очевидно, среди людей царят мир, согласие и справедливость.

Так иронизировал ректор. Этот тон не был свойственен его уму. Но с некоторых пор у него появились новые мысли и новые слова.

Тем временем Рике продолжал лаять и рычать. Он явно старался остановить пришельца грозным взглядом и голосом. Тем не менее он пятился по мере того, как противник наступал. Он с преданностью сторожил дом, но все же соблюдал осторожность.

Потеряв терпение, хозяин приподнял его с земли за загривок и щелкнул раза два в мордочку.

Рике тотчас же перестал лаять, ласково заюлил и, высунув завиток язычка, лизнул карающую руку. Теперь его прекрасные глаза излучали грусть и кротость.

– Бедняжка Рике! – вздохнул г-н Летерье. – Вот награда за усердие.

– Надо вникнуть в его мысли, – ответил г-н Бержере, загнав Рике за кресло. – Теперь уж он знает, что не должен был встречать вас таким образом. Ему понятен только один вид зла – страдание, и только один вид добра – отсутствие страдания. Он до такой степени отождествляет преступление с наказанием, что для него дурной поступок это тот, за который наказывают. Когда я по неосторожности наступаю ему на лапу, он признает себя виновным и просит у меня прощения. Вопрос о справедливости и несправедливости не смущает его непогрешимого ума.

– Эта философия избавляет его от тревог, которые мы сейчас переживаем, – сказал г-н Летерье.

С тех пор как г-н Летерье подписался под так называемым «протестом интеллигентов», он жил в постоянном недоумении. Он изложил свои взгляды в письме, адресованном в местные газеты. Ему была непонятна точка зрения противников, ругавших его жидом, пруссаком, интеллигентом и продажной душонкой. Его удивляло также и то, что Эзеб Буле, редактор «Маяка», ежедневно называл его дурным гражданином и врагом армии.

– Поверите ли? – воскликнул он. – В «Маяке» осмелились напечатать, что я оскорбляю армию! Оскорбляю армию! Я, у которого сын под знаменами!

Оба профессора долго толковали о «Деле». И г-н Летерье, обладавший кристальной душой, добавил:

– Не могу понять, почему к этому вопросу пристегивают политические соображения и борьбу партий. Он стоит выше и тех и других, потому что это вопрос морали.

– Несомненно, – отвечал г-н Бержере. – Но вы бы не удивлялись и не поражались, если бы подумали о том, что толпе присущи лишь сильные и простые страсти; рассуждение ей недоступно; очень немногие люди способны в сложных случаях руководствоваться разумом, а для обнаружения истины в этом деле нам с вами понадобилось напряженное внимание, упорство изощренного ума, привычка рассматривать факты методически и проницательно. Из-за этих преимуществ и из-за удовольствия познать истину стоит, право же, вытерпеть несколько жалких оскорблений!

– Когда это кончится? – спросил г-н Летерье.

– Может быть, через полгода, может быть, через двадцать лет, а может быть, никогда, – ответил г-н Бержере.

– Как далеко они зайдут? – продолжал спрашивать г-н Летерье. – Scelere velandum est seel us. ^[48] Это уморит меня, друг мой, это меня уморит.

И он говорил правду. Крепкий организм этого высоконравственного существа был подточен. У него была лихорадка и боли в печени. В сотый раз он изложил доказательства, которые собирал так тщательно и ревностно. Он установил причины ошибки, которая отныне явственно проглядывала сквозь ворох наброшенных на нее туманных покровов. И зная свою правоту, убежденно воскликнул:

– Что можно на это возразить!

В этот момент их беседы оба профессора слышали сильный шум, доносившийся с площади.

Рике поднял голову и огляделся с тревогой.

– Что там еще? – спросил г-н Летерье.

– Ничего, – отвечал г-н Бержере, – это Пекус.^[49]

И действительно, это была толпа обывателей, издававшая громкий рев.

– Кажется, они кричат: «Долой Летерье!» – сказал ректор. – Они, вероятно, узнали, что я у вас.

– Вероятно, – подтвердил г-н Бержере, – и я полагаю, они скоро начнут кричать: «Долой Бержере!» Пекус вскормлен вековой ложью. Его способность заблуждаться доходит до огромных размеров. Не умея рассеять разумом наследственные предрассудки, он бережно хранит басни, доставшиеся ему от предков. Этот вид мудрости предохраняет от оплошностей, которые могут оказаться для него слишком вредными. Он придерживается проверенных заблуждений. Он подражатель: это проявлялось бы еще отчетливее, если бы он невольно не искажал того, что копирует. Такие искажения и принято называть прогрессом. Пекус не размышляет. Поэтому нельзя говорить, что он обманывается. Но все его обманывают, и он несчастен. Он никогда не сомневается, ибо сомнение – это плод размышлений. А все-таки идеи его постоянно меняются. И он иногда переходит от отупения к ярости. В нем нет ничего выдающегося, так как все выдающееся немедленно от него отделяется и перестает ему принадлежать. Но он мечется, он томится, он страдает. Он достоин глубокой и скорбной симпатии. Надлежит даже его почитать, потому что от него исходит всяческая добродетель, всяческая красота, всяческая человеческая доблесть. Бедный Пекус!

Так говорил г-н Бержере. Вдруг камень, брошенный с силой, пробил стекло и упал на пол.

– Вот вам и аргумент, – сказал ректор, поднимая камень.

– Он ромбоидальный, – отозвался г-н Бержере.

– На камне нет никакой надписи, – заметил ректор.

– Жаль, – отвечал г-н Бержере. – Командор Аспертини нашел в Модене камни для пращей, которые в сорок третьем году до нашей эры солдаты Гирция и Пансы метали в сторонников Октавия.^[50] На этих камнях имелись надписи, указывавшие, в кого надо попасть. Господин Аспертини показал мне один, предназначенный для Ливии.^[51] Предоставляю вам догадываться по духу этих воинов, в каких выражениях было составлено их послание.

Тут голос его был заглушён криками: «Долой Бержере!» «Смерть жидам!» – доносившимися с площади.

Господин Бержере взял камень из рук ректора и положил его на стол, как пресс-папье. Затем, как только можно было снова слышать его

голос, он продолжал нить своих рассуждений:

– После поражения обоих консулов Антония под Моденой имели место ужасные жестокости. Нельзя отрицать, что с тех пор нравы сильно смягчились.

Между тем толпа ревела, и Рике отвечал ей героическим лаем.

XIII

Юный Бонмон, находясь в Париже в отпуску по болезни, посетил автомобильную выставку, устроенную в углу Тюильрийского сада вдоль террасы Фельянов. Проходя по одной из боковых галерей, отведенной под детали и разные принадлежности, он безучастным, уже заранее пресыщенным взором рассматривал карбюратор «Плутон», мотор «Пчелу» и автоматическую масленку «Альфонс» для смазывания подшипников и шатунов. Он то и дело отвечал отрывистым кивком или приветственным движением руки на поклоны робких молодых людей и заискивающих старцев. Отнюдь не гордый, не заносчивый, простой в обращении и даже несколько вульгарный, он был силен только выражением ровной и спокойной злости, так помогавшей ему в обращении с людьми. Приземистый, плотный, еще крепкий, хотя уже подточенный болезнью, он, слегка сгорбившись, шел по террасе. Сойдя со ступенек и ознакомившись с марками различных масел, служащих для очистки втулок, он наткнулся по дороге на садовую статую под холщовым навесом, окруженную загородкой из сурового полотна. Это было изваяние во французском классическом стиле: бронзовый герой, академическая нагота которого свидетельствовала о мастерстве ваятеля, разил палицей чудовище, стоя в позе, строго соответствовавшей канонам жанра. Введенный, вероятно, в заблуждение мнимым спортивным видом этой скульптуры и не думая о том, что статуя могла стоять в саду еще до открытия выставки, Бонмон инстинктивно попытался связать ее с автомобильным туризмом. Ему представлялось, что чудовище в виде змея, действительно походившее на пожарную кишку, изображает пневматическую шину. Но подумал он об этом очень неопределенно и смутно. И почти тотчас же отведя недоуменный взгляд, он прошел в огромный зал, где возвышавшиеся на стендах машины назойливо выставляли напоказ тяжеловесность и неуклюжесть своих рудиментарных форм, еще не достигших законченности, и в кичливом самодовольстве так и лезли в глаза посетителям.

Выставка не развлекала юного Бонмона, ибо ничто его не развлекало. Тем не менее он вдыхал бы без неудовольствия запах резины, жирных масел и разогретой смазки, носившийся в воздухе, и рассматривал бы без раздражения автомобили, автомобильчики и автомобилишки, но в этот момент мысли его были сосредоточены на одном. Он думал об охоте герцога де Бресе. Желание получить охотничью пуговицу завладело его

душой. Он унаследовал от своего отца упорную волю. Жар, с которым он добивался охотничьей пуговицы де Бресе, соединялся в его жилах с лихорадочным жаром начинающейся чахотки и сжигал его. Он хотел пуговицу с нетерпением ребенка, – ибо сохранил много ребяческого, – и хотел ее с изворотливым упорством расчетливого честолюбца, – ибо знал людей, и хоть еще мало жил, но в жизни повидал немало.

Он знал, что, несмотря на свою французскую фамилию и римский титул, он оставался для герцога де Бресе евреем Гутенбергом. Он знал также силу своих миллионов и знал о власти денег побольше, чем когда-либо будут знать народы и их министры. А потому он не питал иллюзий и не приходил в уныние. Обладая ясным умом, он отчетливо представлял себе положение. Антисемитская кампания велась очень яростно в этом земледельческом департаменте, где, вообще говоря, евреев не было, но было много духовенства. Последние происшествия и газетные статьи сбили с толку слабую голову герцога де Бресе, лидера католической партии в этом департаменте. Конечно, Бонмоны придерживались таких же убеждений, как и потомки эмигрантов, и были пропитаны старинным вандейским благочестием, будучи такими же правоверными католиками, как и де Бресе. Но для герцога раса была главное. Он был прост и упрям. Юному Бонмону это было известно. Он снова обозрел всю ситуацию, пока разглядывал омнибусы Дюбуа-Лакий с керосиновым мотором, и пришел к убеждению, что верный способ получить охотничью пуговицу был только один – добиться епископского посоха для аббата Гитреля.

«Мне необходимо поставить его в епископы, – размышлял он, – это, вероятно, совсем не трудно, только бы знать, как это делается».

И он прибавил про себя, жалея, что уже нет в живых отца:

«Будь только жив папа, он знал бы, что мне посоветовать. Ему-то уж, конечно, приходилось выпекать епископов во времена Гамбетты».

Хотя он и не обладал даром обобщения, но все же пришел к мысли, что всего в этом мире можно достигнуть с помощью денег. Это наполнило его уверенностью в успехе предприятия. Додумавшись до этого, он поднял голову и увидал в нескольких шагах от себя юного Гюстава Делиона, стоявшего перед желтым автомобилем.

В то же мгновение и Делион заметил Бонмона. Он притворился, будто не видит его, и укрылся за кузов машины. Он уже давно занял деньги у Бонмона, а в этот момент совершенно не был в состоянии расплатиться.

От одного взора голубых глаз своего приятеля у Делиона стало сосать под ложечкой. Бонмон умел одними лишь взглядами и молчанием наводить трепет на задолжавших ему друзей. Делион знал эту повадку. А потому он

был чрезвычайно удивлен, когда «бычок», как он его называл, последовал за ним в его убежище между желтым открытым автомобилем и холщовой перегородкой, дружески протянул ему руку и спросил с доброй улыбкой:

– Как здоровье? Недурной брэк? Немного длинен, но хорош, не правда ли? Как раз то, что вам нужно для Валькомба, дорогой Гюстав! Одно удовольствие колесить на этой пыхтелке от Валькомба до Монтиля.

Механик, стоявший на стенде рядом с автомобилем, счел нужным вмешаться в разговор и осведомить господина барона, что машину можно, смотря по надобности, превращать то в шестиместный брэк, то в четырехместный фаэтон. И заметив, что имеет дело со знатоками, он пустился в технические объяснения:

– Двигатель состоит из двух горизонтальных цилиндров; каждым поршнем приводится в движение мотыль, отклоненный на сто восемьдесят градусов от соседнего мотыля...

Он толково изложил преимущества этой конструкции. Затем, отвечая на вопрос Делиона, пояснил, что карбюратор автоматический и его налаживают один раз навсегда, перед пуском машины. Он умолк, и оба молодых человека, тоже молча, сосредоточили свое внимание на машине. Наконец Гюстав Делион, ткнув тростью между спицами колес, сказал:

– Видите, Бонмон, машиной управляют посредством ломаной оси.

– Мягкое управление, – вмешался механик.

Гюстав Делион любил автомобили, и любил их не так как Бонмон, уже заранее пресыщенной любовью. Он разглядывал машину, которая, несмотря на сухость современных форм походила на животное, и не на какое-либо необычайное чудовище, а на заурядное, обыденное чудовище, с зачатком головы, выпучившей два огромных глаза-фонаря.

– Неплохая пыхтелка, – тихо сказал юный Бонмон своему приятелю. – Купите ее.

– Купить? Разве можно что-либо себе позволить, когда у тебя, на несчастье, имеется папаша? – тихо возразил Гюстав. – Вы себе не представляете, сколько семья доставляет неприятностей... и затруднений.

Он прибавил с напускной самоуверенностью:

– Кстати, дорогой Бонмон, это напомнило мне, что я должен вам кое-какую мелочишку...

Ладонь дружеской руки опустилась ему на плечо и прервала его речь. Он с удивлением увидел подле себя русого человечка, с головой, втянутой в плечи, плотного, коренастого, слегка сутуловатого, совсем простого в обращении, который улыбался ему доброй улыбкой с необычайным выражением кротости в голубых глазах.

– Вздор! – заявил коротыш, походивший на славного молоденького бизона, который оставляет ключья шерсти на кустах.

Гюстав не узнавал своего Бонмона. Он был растроган и удивлен. А маленький барон, вскочив в брэк, принялся вертеть руль под благожелательными взорами механика.

– Бонмон! Вы правите машиной? – спросил почтительно Гюстав.

– Иногда, – отвечал юный Бонмон.

И держа руку на руле, рассказал об автомобильной поездке по Турени, во время одного из своих лечебных отпусков, после которых возвращался еще более больным. Он делал сорок километров в час. Правда, дорога была сухая и в хорошем состоянии. Но встречались коровы, дети и пугливые лошади, способные причинить неприятности. Нужно было зорко смотреть, а в особенности приходилось следить за тем, чтобы сосед не трогал руля. Он рассказал несколько случаев из своей поездки. Особенно забавным казалось ему приключение с молочницей.

– Вижу: впереди едет какая-то старуха и загораживает мне дорогу своей тележкой и лошадью, – рассказывал он. – Даю гудок, старуха не сторонится. Тогда я направляю машину прямо на нее. Она не знала этого трюка. Она сворачивает и так сильно дергает лошадь, что та падает на кучу камней: лошаденка, тележка, молочница, крынки с молоком – все летит вверх тормашками, а я несусь дальше.

И юный Бонмон, выскакивая из машины, закончил так:

– Несмотря на шум и пыль, автомобиль все же очень приятный способ передвижения. Испытайте, дорогой мой.

«А ведь он очень мил!»! – подумал с восхищением Гюстав Делион. И его восторг еще усилился, когда Бонмон, увлекая его за руку к проходу, ведущему в большой зал, сказал ему:

– Вы правы. Не покупайте этой машины, я одолжу вам свою трясушку. Она мне сейчас не нужна. Мне пора вернуться на службу: отпуск кончается, – да и сам я тоже кончаюсь... Кстати, не знаете ли вы, госпожа де Громанс в Париже?

– Думаю, что здесь, но наверняка не скажу, – отвечал Гюстав – я давно ее не видел.

Это была рыцарственная ложь, так как накануне в семь часов десять минут вечера он расстался с г-жой де Громанс в номере гостиницы, где обычно происходили их свидания.

Бонмон ничего не ответил. Остановившись перед двуязычной надписью «Курить не разрешается», он устремил на нее задумчивый взгляд, который придавал еще больше значительности его молчанию.

Гюстав, тоже умолкший, спохватился, что неосторожно обрывать разговор с таким собеседником, и потому добавил:

– Но мне, вероятно, скоро снова представится случай встретиться с ней... Если угодно, я могу даже узнать...

Маленький барон посмотрел ему в глаза и сказал;

– Хотите доставить мне удовольствие?

Гюстав ответил утвердительно с готовностью услужливой души и со смятением человека, внезапно втянутого в трудное предприятие. Он действительно мог доставить удовольствие Эрнесту де Бонмону, и тот не преминул указать ему способ:

– Если вы хотите доставить мне удовольствие, дорогой Гюстав, убедите госпожу де Громанс пойти к Луайе и попросить его, чтобы он назначил аббата Гитреля епископом.

И он добавил:

– Прошу вас об этом как о настоящей услуге.

На такую просьбу Гюстав ответил бессмысленным молчанием и растерянными взглядами, не потому, чтобы намеревался отказать, а потому, что ничего не понял. Бонмону пришлось еще дважды повторить те же слова и объяснить, что Луайе, как министр культов, назначает епископов. Бонмон был терпелив, и Гюстав мало-помалу освоился с его замыслом и даже безошибочно повторил то, что ему говорили:

– Вы хотите, чтобы госпожа де Громанс пошла к Луайе, министру культов, и попросила его назначить Гитреля епископом?

– Епископом в Туркуэне.

– Туркуэн... Это во Франции?...

– Разумеется.

– Гм... – буркнул Гюстав.

И он призадумался.

У него возникли довольно серьезные сомнения, и он изложил их, рискуя показаться недостаточно любезным. Но дело, невидимому, было не из пустячных, и он не хотел впутываться в него очертя голову. Робко, застенчиво он высказал первое, самое общее сомнение.

– А вы не шутите? – спросил он.

– Какие там шутки! – сухо ответил Бонмон.

– Правда? Вы в самом деле не дурачите меня? – повторил Гюстав свой вопрос.

Он все еще колебался. Но взгляд маленького блондина, взгляд, полный презрения, заставил его решиться.

Тогда он объявил уже совершенно твердо:

– Раз это всерьез, то можете рассчитывать на меня. В серьезных делах я серьезен.

Он умолк, но, как только умолк, в его душу опять проникли сомнения. Он спросил вкрадчиво и боязливо:

– Уверены ли вы, что госпожа де Громанс настолько близко знакома с министром, чтобы обращаться к нему... с просьбами о... о таком деле? Она, видите ли, никогда не говорила мне о Луайе.

– Вероятно потому, что у нее есть другие темы для беседы с вами, – возразил маленький барон. – Я не говорю, что она бредит этим Луайе, но она считает его добрым и неглупым старикашкой. Они познакомились три года тому назад на трибуне при освящении статуи Жанны д'Арк. Луайе старается быть приятным госпоже де Громанс. Уверяю вас, что он не так уж противен. Когда он облачается в новый сюртук, он похож на старого учителя фехтования, удалившегося на покой в деревню. Ей вполне удобно придти к нему: он будет с ней мил... и уж, конечно, он не опасен.

– Значит, – сказал Гюстав, – она должна попросить его, чтобы он назначил Гитреля епископом?

– Да.

– Епископом этого, как его?...

– Епископом Туркуэна, – ответил Эрнест де Бонмон. – Лучше я запишу вам на клочке бумаги.

И взяв с ближайшего столика карточку фабриканта машин «Королева лилипутов», он написал маленьким золотым карандашом: «Назначить Гитреля епископом туркуэнским».

Гюстав взял карточку. Поручение, казавшееся ему сперва таким странным и необычным, он находил теперь простым и естественным. Он мысленно освоился с ним. И кладя карточку в карман, он сказал Бонмону самым непринужденным тоном:

– Гитреля – епископом туркуэнским, отлично. Можете рассчитывать на меня.

Таким образом оправдывались слова г-жи Делион, которая имела обыкновение отзываться о своем сыне так: «Гюстав заучивает с трудом, но то, что он заучил, он помнит. Это, пожалуй, даже преимущество».

– Будьте спокойны, – серьезно прибавил Эрнест, – я ручаюсь вам, что из Гитреля выйдет очень хороший епископ.

– Тем лучше, – отвечал Гюстав, – потому что...

Он не договорил своей мысли.

Тем временем они подошли к выходу.

– Я пробуду в Париже до конца недели, – сказал Бонмон. – Заходите ко

мне и держите меня в курсе дела. Времени терять нельзя: назначения будут подписаны на днях. Нам еще надо потолковать об авто.

Под навесом подъезда, где торжественно развевались знамена, он пожал Гюставу руку и, удерживая ее в своей, произнес:

– Предупреждаю вас об одном, дорогой Делион, и это очень важно. Никто не должен – слышите? – никто не должен знать, что госпожа де Громанс обратится к Луайе по вашей просьбе. Ясно?

– Ясно, – отвечал Гюстав, усердно пожимая руку своего друга.

* * *

В тот же вечер, в восемь часов, зайдя не надолго к матери, с которой видался редко, но поддерживал хорошие отношения, Эрнест де Бонмон застал ее в будуаре, где она заканчивала туалет.

Пока горничная ее причесывала, она отвела глаза от зеркала и, взглянув на сына, сказала:

– У тебя плохой вид!

С некоторых пор здоровье Эрнеста тревожило ее. Рарá был для нее причиной более тяжелых горестей, но и о сыне она тоже беспокоилась.

– А твое здоровье, мама?

– Превосходно.

– Вижу.

– Знаешь ли ты, что у твоего дяди Вальштейна был легкий удар?

– Что ж тут удивительного! Он кутит. В его возрасте это нездорово.

– Твой дядя еще не стар. Ему пятьдесят два года.

– Пятьдесят два года – это уже не отрочество. Кстати, как Бресо?

– Бресо? А что?

– Поблагодарили они тебя за дароносицу?

– Они прислали мне несколько строк на визитной карточке.

– Не густо.

– А чего ты собственно ждал, мой мальчик?

Она встала и, чтоб оправить в волосах бриллиантовую ветку, подняла над головой обнаженные руки, которые образовали как бы две ослепительные ручки у амфоры ее очаровательно округлого тела. Под гроздьями прозрачных плодов, пропускавших электрический свет, ее плечи сверкали, и по их золотистой белизне сбегали к груди тонкие голубые жилки. Щеки ее были нарумянены, губы подмазаны. Но лицо, отражавшее любовные вождедения и здоровье, сохраняло молодость, а пышность тела

скрадывала складки на шее, которые могли бы выдать возраст.

Эрнест де Бонмон внимательно посмотрел на мать и вдруг сказал:

– А что, мама, если бы и ты тоже зашла к Луайе замолвить слово за аббата Гитреля?

XIV

Госпожа де Бонмон, которая предпочла всем другим Рауля Марсьена и любила его нежной любовью, наконец-то вот уже несколько недель могла гордиться своим избранником и считать себя счастливой. Действительно, в мировом порядке произошла чудесная перемена. Рауль, некогда презираемый или вызывавший опасения во всех слоях общества, удаленный из полка, отвергнутый друзьями, поссорившийся с семьей, выгнанный из клуба, известный во всех судах, где нагромождались против него обвинения в мошенничестве, внезапно оказался омытым от всех позорных пятен и очищенным от всякой скверны.

Нельзя сказать, что его перестали считать негодяем, но при тогдашнем состоянии «Дела» было весьма важно, чтобы Рауль Марсьен (быть может, фигурировавший в истории под другим именем, чем в «Аметистовом перстне») оказался чист, а еврей виновен. Не вдаваясь здесь в объяснения, которых у меня не просят, сообщу только, что обелить Рауля Марсьена было крайне необходимо. Военные суды выносили в связи с этим одно решение за другим. И публично и втихомолку министры, депутаты, сенаторы утверждали, что безопасность, могущество, слава Франции зависят от невинности этого субъекта. Все погибло бы, если бы Марсьен оказался под подозрением. А потому все добрые граждане лезли из кожи вон, чтобы восстановить его честь, связанную с национальными интересами. Г-жа де Бонмон, видя, что ее друг внезапно стал примером и образцом для французов, испытывала радость, смешанную с тревогой. Она была создана для скромных утех и интимных наслаждений, и эта популярность удивляла ее, ей было не по себе. В обществе Рауля она испытывала утомление, словно безвыходно жила в каком-то лифте.

Доказательства уважения, получаемые им, удивляли простодушную Элизабет своим количеством и высокопарностью. Это были сплошные поздравления, лестные заверения, свидетельства о добропорядочности, приветствия, похвалы. Они притекали из городов и сел, от всех утвержденных корпораций и всех национальных обществ. Они притекали из судебных учреждений, из казарм, из архиепископств, из мэрий, префектур, замков. Они били ключом из мостовых в дни уличных волнений, они звенели в фанфарах гимнастов, возвращавшихся домой при свете факелов. Теперь честь его сверкала, честь его горела огнями над всей страной, как горит в ночном небе грандиозный орденский знак

праздничной иллюминации. Во Дворце правосудия, в Мулен-Руж толпа провожала его овациями. И особы королевской семьи добивались возможности пожать ему руку.

Тем не менее Рауль не был спокоен. Он продолжал быть мрачным и буйным в маленькой, обитой небесно-голубым шелком квартирке на антресолях, служившей приютом для его любовных встреч с г-жой де Бонмон. Хотя даже и здесь вместе с городским шумом до его слуха доходили восхваления и восторженные клики, а грохот колес омнибуса, сотрясавший стены, и пронзительный рожок трамвая напоминали ему, что в этот момент по улице катят защитники и хранители его чести, он все же оставался погруженным в горькие и мрачные думы. Он носился с зловещими замыслами. Хмуря брови и скрежеща зубами, он бормотал проклятия, он пережевывал, как матрос жвачку, свои обычные угрозы: «Негодяи, подлецы! Я им распорю брюхо!..» Как это ни странно, но он почти не слышал славословий целой толпы людей, зато ему мерещилось, что перед ним стоят и угрожают ему его немногочисленные обвинители, которых все уже считали рассеявшимися, уничтоженными, поверженными в прах, – и его желтые глаза расширились от ужаса. То была всего лишь горсточка людей, но он чувствовал, что они не выпустят добычи.

Его бешенство повергало в уныние ласковую Элизабет де Бонмон, которая подстерегала поцелуи и слова любви на его губах, а вместо этого только и слышала, как они извергают хриплые крики ненависти и мщениия. И она была тем более удивлена и смущена, что угрозы смертоубийства, исходившие от ее возлюбленного, относились без разбора и к друзьям и к недругам. Ибо когда он грозился «распороть брюхо», он не проводил особого различия между своими защитниками и своими противниками. Его мысль, гораздо более обширная, охватывала всю родину и все человечество.

Он проводил ежедневно долгие часы, расхаживая, как лев или пантера в клетке, по двум комнаткам, которые г-жа де Бонмон распорядилась обить голубым шелком и обставить мягкой мебелью для совсем других целей. Он ходил крупными шагами и бормотал:

– Я выпущу им кишки!

Она же, сидя на краю шезлонга, следила за ним робким взглядом и с тревогой ловила его слова. Не то, чтобы выражаемые им чувства она считала зазорными для своего избранника: подчиняясь инстинкту, покорная природе, она восхищалась силой во всех ее проявлениях и льстила себя смутной надеждой, что человек, способный на такую неистовую резню, окажется в другое время способным на неистовые объятия. И

примостившись на краю голубого шезлонга, полузакрыв глаза, с тихо вздымающейся грудью, она ждала, когда же Рауль найдет другое применение своему пылу. Она ждала напрасно. Все то же неизменное рычание заставляло ее вздрагивать:

– Мне надо укокошить кого-нибудь из них!

Иногда она робко пыталась его умиротворить. Она говорила ему голосом, таким же бархатистым, как и ее грудь:

– Но ведь тебе отдают справедливость, друг мой!.. Ведь все признают, что ты человек чести!

Если отрок Давид, худой и темнолицый, успокаивал ярость Саула звуками пастушеской арфы, более слабыми, чем стрекотание кузнечика, то Элизабет была менее удачлива и тщетно пыталась своими вздохами венской певицы и великолепными складками своего бело-розового тела доставить Раулю забвение от мук. Не осмеливаясь взглянуть на него, она все же осмелилась сказать ему:

– Не понимаю тебя, дорогой друг. Раз ты посрамил своих клеветников, раз этот добрый генерал поцеловал тебя прямо на улице, раз министры...

Ей не удалось докончить.

Его прорвало:

– Поговори еще об этих гусаках!.. Они спят и видят, как бы отделаться от меня. Они хотели бы, чтобы я был на сто футов под землей. И это после всего, что я для них сделал! Но пусть поберегутся. Я расщелкаю и этот орешек!..

И он возвращался к своей излюбленной мысли:

– Мне надо укокошить кого-нибудь из них!

Он делился с ней своей мечтой:

– Я хотел бы очутиться в огромном белом мраморном зале, полном народа, и колотить палкой, колотить дни и ночи, колотить до тех пор, пока плиты пола станут красными, стены – красными, потолок – красным.

Она не отвечала и молча разглядывала на своем лифе букетик с фиалками, который купила для него и не решалась ему дать.

Он не дарил ей больше доказательств любви. Все было кончено. Самый жестокий человек сжалился бы, глядя на это прекрасное и ласковое существо, на эти пышные формы, на это молочно-розовое тело, этот великолепный мясистый и теплый большой цветок, заброшенный, забытый, оставленный без призора и холи.

Она страдала. А так как она была благочестива, то старалась найти в религии целебное средство от своих страданий. Она подумала, что беседа с аббатом Гитрелем могла быть очень полезной Раулю, и решила свести его

со священником у себя дома.

Прежде чем одеться, Гюстав Делион раздвинул оконные занавески и увидел во мраке, усыпанном огнями, фонари экипажей, пробежавших по оживленной улице. Минутку-другую он с удовольствием развлекался этим видом: уже целых два часа он был отделен здесь, в комнате, от внешнего мира.

– Что вы там разглядываете, крошка? – спросила из глубины смятой постели г-жа де Громанс, собирая распутившиеся волосы. – Дайте немного свету. Ничего не видно.

Он зажег свечи, стоявшие на камине в маленьких медных канделябрах по бокам позолоченных часов с пастушеской группой. Мягкий свет заиграл на зеркале шкапа и на палисандровом карнизе. Отблески трепетали по всей комнате, на простынях и разбросанной одежде, мягко замирая в складках занавесок.

Это был номер в очень приличной гостинице на одной из улиц по соседству с бульваром Капуцинок. Г-жа де Громанс сделала благоразумный выбор, отклонив менее осторожную затею Гюстава Делиона, снявшего для свиданий с нею небольшую квартиру в первом этаже на пустынном авеню Клебер. Она считала, что женщина, у которой есть дела, не касающиеся других, должна обделывать их в самом сердце шумного Парижа в гостинице пристойного вида, где бывает множество путешественников, иностранцев разных национальностей. Она жила в Париже только два месяца в году, но наезжала туда часто и виделась с Гюставом совершенно свободно, что было бы немислимо в провинции.

Она села на край постели, подставляя под ласковые лучи свои светлые пушистые волосы; молочную кожу покатых плеч и красивой, немного низкой груди. Она сказала:

– Наверно я опять опоздаю. Посмотри, крошка, который час. Только не ошибись, это важно.

Он ответил довольно угрюмо:

– Почему вы всегда зовете меня «крошкой»? Десять минут седьмого...
– Десять минут седьмого, вы не ошиблись?... Я зову вас «крошкой» по дружбе. А как же мне вас звать?

– Я зову вас Клотильдой. Вы могли бы хоть изредка называть меня Гюставом.

– Я не люблю называть людей по имени.

Он ответил желчно:

– Это другое дело! Не смею посягать на ваши привычки...

Она подняла чулки с ковра, вытянувшись всем телом, как кошка, хватаящая мышь.

– Чего собственно ты хочешь? Мне просто не пришло в голову называть тебя по имени, как я зову мужа, брата или кузенов.

Он отвечал:

– Хорошо! Хорошо! Подчиняюсь обычаю.

– Какому еще обычаю?

Держа чулки в руках, она в одной сорочке, ступая на голые пятки, подошла к нему, чтобы поцеловать его в шею.

Он не был догадлив, но не был и доверчив. Его тревожила одна мысль: он подозревал, что г-жа де Громанс избегает имен при любовной встрече, чтобы не перепутать их в моменты экстаза, когда она, по своей натуре, способна была забыть обо всем.

Нельзя сказать, чтобы Гюстав Делион был ревнив, но он был человек самолюбивый. Если бы он узнал, что г-жа де Громанс ему изменяет, его тщеславие было бы задето. С другой стороны, он стремился к обладанию этой хорошенькой женщиной лишь потому, что она другим казалась желанной. Он не вполне был уверен, что следовало быть любовником г-жи де Громанс. Роман со светской женщиной был не так уж обязателен. Его близкие друзья не заводили таких романов. Они предпочитали автомобиль. Г-жа де Громанс ему нравилась. Он был непрочь стать ее возлюбленным, если так принято. А если не принято, то он не видел причины упорствовать одному в этом отношении. Глубокий инстинкт мужчины и требования этикета еще не успели в нем согласоваться. А ум его не был способен примирить такие противоречия. Из-за этого его разговоры носили печать чего-то неясного и незаконченного, что, впрочем, несколько не смущало г-жу де Громанс, избегавшую откровенных объяснений и вообще всякой определенности. Эта обаятельная женщина говорила ему при случае: «Я принадлежала только тебе одному», но говорила это не столько из желания его убедить, сколько ради красоты слога и цельности впечатлений. А так как это бывало в те самые минуты, когда он меньше всего рассуждал, то его не тревожили огромные трудности, какие надо преодолеть, чтобы поверить подобным словам. Сомнения возникали позже, когда начинал действовать рассудок. Он высказывал их ироническими и жестокими словами, старался озадачивать ее неясными намеками. На этот раз он был менее угрюм, чем обыкновенно, не слишком язвителен и не так ревнив и недоверчив. Он проявил ровно столько дурного настроения, сколько естественно

обнаруживать после удовлетворения желаний. А г-же де Громанс следовало именно сегодня опасаться самых мрачных проявлений досады и неприязни. Ведь именно сегодня, то насильно, то лаской, пустив в ход свое природное чутье и богатый опыт, она добилась от него более щедрых доказательств любви, чем он обычно считал возможным допускать. Она заставила его выйти из границ умеренности. А этого он ей легко не прощал, так как заботился о своем здоровье и старался быть в форме для спортивных упражнений. Всякий раз как г-жа де Громанс заставляла его нарушить меру, он мстил ей злобными словами или еще более злобным молчанием. Она не сердилась, так как любила любовные наслаждения и так как по опыту знала, что мужчины становятся неприятными после того, как утолят свой пыл. А потому она спокойно ждала упреков, которые считала заслуженными. Но ожидания ее не оправдались. Гюстав спокойно изрек мысль, свидетельствующую о ровной безмятежности его духа:

– Мой бельевщик – осел!

В то же время он аккуратно оправлял костюм перед зеркалом и предавался глубоким размышлениям. После нескольких минут сосредоточенности он спросил г-жу де Громанс отнюдь не кислым тоном:

– Вы, кажется, знакомы с Луайе?

Г-жа де Громанс, светлая, сияющая и свежая на фоне глубокого кресла, обитого темным бархатом, застегивала ботинки. Голая, в одной только смятой сорочке, она наклонилась грудью над скрещенными ножками и опустила головку, залитую светом; в этом живописном ракурсе, еле прикрытая соскальзывающей тонкой тканью, она походила на аллегорическую фигуру с какого-нибудь венецианского плафона. Гюстав не заметил этого сходства. Он повторил свой вопрос:

– Вы знакомы с Луайе?

Она приподняла голову и, держа крючок на весу на кончиках пальцев, сказала:

– С Луайе? С министром? Да, знакома.

– Близко?

– Нет, не близко, но знакома.

Этот Луайе, сенатор, министр юстиции, министр культов, был старый холостяк, невзрачный на вид, довольно честный, пока дело не касалось политики, отчасти знакомый с правоведением, философ, поседевший в любовных шашнях с горничными и среди холостяцких разговоров. Войдя на закате лет в общение со светскими дамами, он пожирал их глазами сквозь золотые очки.

Хорошо сохранившийся для шестидесяти лет, он по достоинству

оценил г-жу де Громанс, когда она предстала перед ним в гостиных префектуры. С тех пор прошло семь лет. Луайе приезжал в город г-на Вормс-Клавлена на открытие памятника Жанне д'Арк. Тогда-то он произнес пресловутую речь, великолепно заканчивавшуюся параллелью между Орлеанской девой и Гамбеттой, «равно преображенными», как выразился оратор, «дивным светом патриотизма». Консерваторы, уже втайне сочувствовавшие финансовой политике республики, были благодарны министру за то, что он связывал их с господствовавшим режимом еще и почетными узлами благородного чувства.

Господин де Громанс пожал ему руку и сказал: «Старый шуан в моем лице благодарит вас, господин министр, за Жанну и за Францию». Министр прогуливался ночью с г-жой де Громанс при свете венецианских фонарей по обширным садам префектуры, под деревьями, посаженными в 1690 году силейскими бенедиктинцами, как будто для того, чтобы спустя два века г-жа Вормс-Клавлен могла наслаждаться их тенью. Узнав перед тем, что «старый шуан» занимал первое место среди рогоносцев департамента, Луайе шепнул несколько гривуазностей в розовое ушко молодой женщины. Он был бургундцем и похвалялся тем, что он бургундец «с перцем». Тем не менее, увлеченный красотой этой исторической ночи, он сказал, прощаясь с г-жой де Громанс: «Такие иллюминации переносят нас в царство мечты». Луайе отнюдь не был неприятен г-же де Громанс. Она впоследствии даже обращалась к нему за несколькими мелкими услугами по части земледелия и местных дорог, и старик оказывал их ей, не требуя ни малейшего вознаграждения, довольствуясь тем, что похлопывал по рукам и по плечам прелестную союзницу и спрашивал ее фривольным тоном, как поживает «старый шуан».

У нее не было поэтому никакой надобности скрывать свои отношения с Луайе, который опять получил портфель министра культов в новом радикальном кабинете.

– Я знакома с Луайе, как бывают знакомы с людьми другого круга. Почему ты спрашиваешь?

– Спрашиваю потому, что, если ты в хороших отношениях с Луайе, то попроси его кой о чем.

– Уж не хочешь ли ты получить академический значок, как господин Бержере?

– Нет, – ответил серьезным тоном Гюстав. – Тут дело поважнее. Ты должна оказать мне услугу и отрекомендовать этому министру аббата Гитреля.

Она изумленно выпрямилась. Между ее черными чулками и сорочкой

сверкала полоска ослепительной кожи. Удивление даже придало ее лицу какую-то наивность. Она спросила:

– Зачем?

Гюстав старательно повязывал галстук.

– Чтобы Луайе назначил его епископом.

– Епископом!

Это слово вызвало у г-жи де Громанс многочисленные и наглядные представления.

В течение ряда лет она видела, как по праздничным дням служил в соборе архиепископ Шарло, толстый и приземистый, весь сверкающий золотом митры и мантии, краснолицый, бесформенный, величественный. Она очень часто обедала с ним и даже угощала его у себя. Вместе с прочими дамами прихода она восхищалась остроумными ответами кардинала-архиепископа и его красивыми икрами в красных чулках. Она была знакома и с многими другими епископами, все людьми весьма почтенными. Но она никогда не задумывалась над порядком, установленным для возведения священников в епископский сан. И ей казалось странным, что симпатичный, но банальный и гривуазный господин вроде Луайе обладает властью создавать таких прелатов, как монсиньор Шарло. Ее охватило раздумье, она обвела своими прекрасными, лишенными мысли глазами все помещение от неубранной постели до столика с бисквитами и бутылкой малаги, от стула, где валялись ее панталоны и корсет, до фарфорового прибора, стоявшего в беспорядке на туалете, и в то же время представляла себе кружевные стихари, посохи, наперсные кресты, аметистовые перстни. И не вполне понимая, она переспросила:

– Ты в самом деле думаешь, что так делают епископов?

Он уверенно ответил:

– Да, именно так.

Застегивая корсет, она задумчиво сказала:

– Так ты полагаешь, крошка, что, если я попрошу Луайе назначить аббата Гитреля епископом...

Он заверил ее, что старый ловелас Луайе не откажет в такой просьбе хорошенькой женщине.

Она пристегнула свои розовые фуляровые панталоны к шелковому корсету. А так как Гюстав продолжал настаивать, чтобы она обратилась с просьбой к министру, то ее охватило некоторое недоверие и сильное любопытство. Она спросила:

– Но зачем тебе нужно, крошка, чтобы аббат Гитрель стал епископом?

Зачем?

– Чтобы доставить удовольствие маме. И кроме того, этот священник меня интересует. Он умен, он способный человек. Таких не так уж много. Право, он идет в уровень с веком. Это священник в духе римского папы. И потом, мама будет так довольна.

– Так почему же ей самой не пойти к Луайе с этой маленькой просьбой?

– Прежде всего, дорогая, это не одно и то же. А кроме того, мои родители сейчас в прохладных отношениях с министерством. Отец, как председатель союза горнозаводчиков, протестовал против новых тарифов. Вы не можете себе представить, с какими раздорами связаны эти экономические вопросы.

Но она видела, что он ее обманывает и вмешивается в церковные дела не из-за сыновней любви.

В розовых фуляровых панталонах, быстрая и подвижная, она ходила по комнате, нагибаясь, выпрямляясь, вновь нагибаясь, в поисках юбки, затерявшейся среди надушенных принадлежностей ее туалета, разбросанных в разных местах.

– Крошка, дай мне совет.

– Относительно чего?

Долго провозившись над завязыванием галстука перед зеркалом, он закурил папироску и развлекался тем, что следил за движениями г-жи де Громанс в одеянии, подчеркивавшем всю женственность этого женского тела. Он не мог решить, изящно это или смешно. Он не мог решить, надо ли считать это зрелище просто некрасивым или находить в нем некоторую долю художественного удовольствия. Его нерешительность была вызвана воспоминанием о долгой дискуссии, поднятой на эту тему прошлой зимой у его отца. Дискуссия происходила после обеда, в курительной комнате, между двумя старыми знатоками: г-ном де Термондром, находившим, что нет ничего очаровательнее хорошенькой женщины в корсете и панталонах, и Полем Фленом, утверждавшим, напротив, что женщина в такой момент выглядит весьма неизящной. Гюстав следил за этим интересным спором. Он не знал, на чью сторону склониться.

Термондр обладал опытом, но был старозаветен и слишком артистичен; Поль Флен был несколько глуповат, но очень шикарен. Из чувства недоброжелательности и руководствуясь своими вкусами, Гюстав уже склонялся в пользу Поля Флена, когда г-жа де Громанс надела розовую юбку в розовых цветах.

– Дай мне совет, крошка. В этом году носят платья, сплошь

отделанные выдрой. Что ты скажешь о платье из красного сукна... такого насыщенно красного цвета, рубинового... с жакеткой из выдры... а к этому шапочку из выдры с букетиком пармских фиалок?

Он продолжал пребывать в задумчивости, выражая свою точку зрения только кивками головы. Наконец, вместо ответа, он пустил струю папиросного дыма.

Она продолжала, погруженная в свои грезы:

– ...Со старинными пуговицами в драгоценных камнях. Рукава совсем узкие и облегающая юбка.

Он наконец заговорил:

– Облегающая юбка. Как будто неплохо!

Тут она вспомнила, что он ровно ничего не понимал ни в юбках, ни в лифах. При этом она набрела на мысль, которую тут же стала развивать:

– Это просто удивительно! Мужчины, не признающие женщин, интересуются женскими туалетами. А мужчины, любящие женщин, даже не замечают, как те одеты. Я уверена, что ты, например, не можешь сказать, в каком платье я была в субботу у твоей матери. А вот этот птенчик Сюке, у которого, как известно, особые вкусы, отлично разбирается и в белье и в женских тряпках. Он родился модисткой и портным. Как ты это объясняешь?

– Долго рассказывать.

– Крошка, ты сидишь на моей юбке. Да, кстати, чтобы не забыть: Эммануэль жалуется, что ты им пренебрегаешь. Вчера он ждал тебя, чтобы показать лошадь, которую хочет купить... А ты не пришел. Он недоволен.

При этих словах Гюстав разразился бранью:

– Твой муж осточертел мне на скачках. Он идиот, шут. И вдобавок – прилипала. Согласись, что торчать по целым дням в его конюшне, на его псарне и на его огороде – потому что этот слабоумный еще к тому же помешан на земледелии, – разглядывать собачью овсянку, шприц для лошадей и фосфатные удобрения по системе Брем-Дюкорне – это не занятие для меня. Я считаю бестактностью, что при наших с тобой отношениях твой муж ходит за мной по пятам. Из-за его глупости все уже начинают что-то подозревать. Клянусь тебе: это всем бросается в глаза.

Она ответила ласково и серьезно, надевая юбку:

– Не говори дурно о моем муже. Раз необходимо иметь мужа, то еще хорошо, что он у меня такой. Подумай, крошка, ведь могло быть и хуже.

Но Гюстав не унимался:

– И к тому же он любит тебя, скотина!

Она слегка скривила губы и слегка пожала плечами, что означало: где

ему!

Так по крайней мере ее понял Гюстав. И он подчеркнул смысл ее слов:

– По одной его физиономии видно, что он не из чемпионов в любовных делах. Но есть вещи, о которых даже думать противно.

Г-жа де Громанс посмотрела на Гюстава прекрасным, счастливым и спокойным взглядом, призывавшим отбросить тягостные мысли, и собралась запечатлеть на его губах поцелуй, великолепный, как королевская печать из алого воска.

– Осторожно – папироса! – сказал он.

Теперь, уже одевшись в скромное платье цвета беж, она оправляла под шляпкой пушистые волосы. Вдруг она расхохоталась. Гюстав спросил, что ее рассмешило.

– Так, ничего...

Он все же захотел знать.

– Я думала о том, что твоей матери, когда она... в свое время... ходила на свидания... доставляли, должно быть, немало неудобств ее волосы, если она каждый раз сооружала такую сложную прическу, как на портрете в гостиной.

Шокированный этой шуткой и не зная, как к ней отнестись, он ничего не ответил. Она продолжала:

– Ты, надеюсь, не сердишься? Скажи, ты меня любишь?

Нет, он не сердился. Он любил ее. Тогда она вернулась к прежней мысли.

– Смешно. Сыновья верят в добродетель своих матерей. Дочки тоже, но меньше. А между тем, если у женщины есть дети, это вовсе не означает, что у нее не было любовников.

Она призадумалась и продолжала:

– Жизнь все-таки сложная штука, когда о ней подумаешь. Прощай, крошка. Я едва успею дойти до дому пешком.

– Почему пешком?

– Во-первых, это полезно для здоровья, А кроме того, объясняет, почему я обошлась без своей коляски. Да и не скучно.

Она осмотрела себя в зеркало сперва в три четверти, затем сбоку и, наконец, со спины.

– В этот час за мной, конечно, увяжется куча приставал.

– Почему?

– Потому что у меня неплохая фигура.

– Я хочу сказать: почему вы уверены, что именно в этот час?

– Потому что уже вечер. Вечером, перед обедом, большой наплыв

публики.

– Но кто к вам пристаёт? Что за люди?

– Чиновники, светские люди, франты, мастеровые, священники. Вчера меня провожал негр. Цилиндр его блестел как зеркало. Он был очень мил.

– Он говорил с тобой?

– Да. Он сказал: «Сударыня, не угодно ли вам сесть со мной в экипаж? Или вы боитесь себя скомпрометировать?»

– Как глупо!

Она серьезно заметила:

– Есть такие, что говорят еще большие глупости. Прощай, крошка. Сегодня мы крепко любили друг друга.

Она уже взялась за дверной ключ, но он остановил ее:

– Клотильда, обещаю тебе, что ты пойдешь к министру Луайе и скажешь ему самым милым образом: «Господин Луайе, у вас есть вакантная епархия. Назначьте аббата Гитреля. Лучшего выбора вы сделать не можете. Это священник совсем в духе папы».

Она покачала хорошенькой головкой:

– Пойти к Луайе на дом? Ну, нет! Я не полезу в клетку к горилле! Надо найти случай встретиться с ним у друзей.

– Но дело спешное, – возразил Гюстав. – Луайе может с минуты на минуту подписать назначение на свободные епархии. Их несколько.

Она подумала и после некоторых усилий мысли сказала:

– Ты наверное ошибаешься, крошка. Епископов назначает вовсе не Луайе, а папа, уверяю тебя, или же нунций. Да вот тебе доказательство – Эммануэль говорил на днях: «Нунцию следовало бы побороть скромность господина Гуле и предложить ему епископство».

Он попытался ее разубедить и пустился в объяснения:

– Слушай меня: министр выбирает епископов, а нунций утверждает выбор министра. Это называется конкордатом. Ты скажешь Луайе: «У меня есть на примете священник, умный, либеральный, сторонник конкордата, совсем в духе...»

– Знаю.

Она широко раскрыла глаза.

– А все-таки, крошка, ты просишь у меня о таких необычайных вещах...

Удивление ее происходило оттого, что она была набожна и уважала святых. Гюстав, пожалуй, был не так набожен, как она, но зато, быть может, более щепетилен. В душе он признавал, что это действительно было довольно необычайно; тем не менее он был заинтересован в успехе дела, а

потому постарался успокоить г-жу де Громанс:

– Я не прошу у тебя ничего такого, что было бы противно религии.

Наоборот.

Но к ней вернулось ее первоначальное любопытство. Она спросила:

– Почему, крошка, тебе так хочется, чтобы господин Гитрель стал епископом?

Он смущенно заметил, что уже объяснил ей это.

– Мама этого хочет. И другие тоже.

– Кто?

– Многие... Бонмоны...

– Бонмоны? Да ведь они евреи!

– Ничего не значит. Есть евреи даже среди духовенства.

Узнав, что тут замешаны Бонмоны, она почуяла какую-то интригу. Но, обладая нежным сердцем и покладистой душой, она обещала переговорить с министром.

Аббата Гитреля, кандидата на епископскую кафедру, ввели в кабинет нунция. Монсиньор Чима поражал с первого взгляда крупными чертами бледного лица, которое годы изнурили, но не состарили. В сорок лет у него был вид больного юноши. А когда он опускал глаза, то становился похожим на мертвеца. Он жестом попросил посетителя сесть и, готовясь выслушать его, принял в кресле привычную позу. Поддерживая правый локоть левой рукой и подперев щеку, он был овеян какой-то кладбищенской грацией и напоминал знакомые фигуры античных барельефов. В минуты покоя черты его были подернуты меланхолией. Но стоило ему улыбнуться, и лицо его превращалось в комическую маску. Однако взгляд его прекрасных темных глаз производил тягостное впечатление, и в Неаполе говорили, что у него дурной глаз. Во Франции он слыл тонким политиком.

Аббат Гитрель счел дипломатичным лишь вскользь намекнуть на цель своего визита.

Пусть церковь в премудрости своей располагает им по своему усмотрению. Все его чувства к ней сливаются в едином чувстве беспрекословной покорности.

– Монсиньор, – сказал он, – я священник, иначе говоря – солдат. Я ищу для себя славы только в повиновении.

Монсиньор Чима, одобрительно склонив голову, спросил аббата Гитреля, знал ли он покойного епископа туркуэнского господина Дюклу.

– Я знавал его в Орлеане, когда он был священником.

– В Орлеане. Приятный город. У меня там есть дальние родственники. Господин Дюклу был в преклонных летах. От какой болезни он умер?

– От каменной болезни, монсиньор.

– Таков удел многих старцев, хотя за последние годы наука значительно облегчила этот страшный недуг.

– Действительно, монсиньор.

– Я встречался с господином Дюклу в Риме. Он был моим партнером по висту. Вы бывали в Риме, господин Гитрель?

– Этого утешения я до сих пор не удостоился, монсиньор. Но я часто пребывал там мысленно. Если не телом, то душою я переносился в Ватикан.



Gall



– Так, так... Папа будет рад вас видеть. Он любит Францию. Лучшее время для пребывания в Риме – весна. Летом малярия свирепствует в окрестностях и даже в некоторых городских кварталах.

– Я не боюсь малярии.

– Отлично, отлично... К тому же, если принять меры предосторожности, можно уберечь себя от лихорадки. Не надо выходить вечером без верхнего платья. Иностранцы должны особенно избегать прогулок в открытом экипаже после заката солнца.

– Говорят, монсиньор, что вид Колизея при лунном освещении просто великолепен.

– Воздух там опасен. Надо также избегать садов виллы Боргезе, где очень сыро.

– Вот как, монсиньор?

– Да!.. Да!.. Хотя я сам уроженец Рима и родители мои римляне, но я плохо переношу римский воздух, Куда лучше в Брюсселе. Я пробыв там

год. Что может быть приятнее этого города! У меня там есть родные... Скажите, Туркуэн очень большой город?

– В нем сорок тысяч жителей. Город промышленный.

– Знаю, знаю. Господин Дюклу говорил мне в Риме что находит у своих прихожан только один недостаток: они пьют пиво. Он говорил мне так: «Если бы они пили орлеанское вино, они были бы безупречными христианами. А вот пиво нагоняет на них уныние, неподобающее христианину».

– Монсеньор Дюклу шутил весьма остроумно.

– Он не любил пива и очень удивился, узнав от меня, что пристрастие к этому напитку теперь весьма распространено в Италии. Есть немецкие пивные во Флоренции, в Риме, в Неаполе, во всех городах. Любите ли вы пиво, господин Гитрель?

– Не брезгаю, ваше высокопреосвященство.

Нунций дал священнику поцеловать свой перстень, и Гитрель почтительно откланялся.

Нунций позвонил:

– Попросите господина Лантеня.

Ректор духовной семинарии приложился к перстню нунция. Ему было предложено сесть и изложить свое дело.

Он сказал:

– Монсеньор, я принес в жертву папе и соображениям необходимости свою преданность королевской династии. Я отрекся от дорогих для моего сердца надежд. Но этим я исполнил свой долг перед главой истинно верующих, ради единства церкви. Если его святейшество поставит меня епископом в Туркуэне, я буду управлять там по его предначертаниям и ко благу христианской Франции. Епископ – это правитель. Ручаюсь вам за свою твердость.

Монсеньор Чима, одобрительно склонив голову, спросил у Лантеня, знал ли он покойного епископа туркуэнского господина Дюклу.

– Я мало встречался с ним, – отвечал Лантень, – да и то задолго до возведения его в епископский сан. Помнится, мне случалось уступать ему проповеди, если у меня бывали лишние.

– Он уже был немолод, когда мы его потеряли. От какой болезни он умер?

– Не знаю.

– Я знавал господина Дюклу в Риме. Он был моим партнером по висту. Вы бывали в Риме, господин Лантень?

– Никогда, ваше высокопреосвященство.

– Надо побывать. Папа будет рад вас видеть. Он любит Францию. Но будьте осторожны, римский климат неблагоприятен для иностранцев. Летом малярия свирепствует в окрестностях и даже в некоторых городских кварталах. Лучшее время для пребывания в Риме – весна. Хотя я сам уроженец Рима и родители мои римляне, но я предпочитаю Риму Париж или Брюссель. Брюссель очень приятный город. У меня там есть родные. Скажите, Туркуэн очень большой город?

– Это одно из самых древних епископств Северной Галлии, ваше высокопреосвященство. Туркуэнская епархия прославилась длинным рядом святых епископов, начиная от блаженного Лупа и до монсиньора де ля Трюмельера, непосредственного предшественника монсиньора Дюклу.

– А какое население в Туркуэне?

– Вера там прочная, ваше высокопреосвященство, а по доктрине они ближе к духу католической Бельгии, чем Франции.

– Знаю, знаю. Незабвенный епископ туркуэнский господин Дюклу сказал мне однажды в Риме, что знал за своими прихожанами только один непростительный грех: они пьют пиво. Он говорил: «Если бы они пили орлеанское, винцо, они были бы лучшей паствой на свете. К сожалению, пиво передает им свою горечь и нагоняет на них уныние».

– Монсиньор, позвольте сказать вам: епископ Дюклу был ограничен умом и слаб характером. Он не сумел должным образом направить энергию этих крепких людей Севера. Он был не плохим человеком, но недостаточно ненавидел зло. Нужно, чтобы туркуэнская община озаряла своим светом весь католический мир. Если его святейшество сочтет меня достойным занять кафедру блаженного Лупа, я берусь в десять лет уловить все сердца с помощью святой силы подвижничества, отбить все души у врага, установить во всей моей области единство веры. Франция в своих тайных глубинах – страна христианская. Нашим католикам не хватает только энергичных руководителей. Мы умираем от бессилия.

Монсиньор Чима встал, подставил аббату Лантеню для поцелуя свой золотой перстень и сказал:

– Надо побывать в Риме, господин аббат, надо побывать в Риме.

XVII

Гостиная в тусклом квартале Батиньоль была очень скромна и украшена лишь гравюрами из Луврской калькографии и фигурами, вазами, часиками, севрскими блюдами – посредственными произведениями, свидетельствующими о связях хозяйки дома с чиновниками республики. Г-жа Шейраль, урожденная Луайе, была сестрой министра юстиции и культов. После смерти мужа, комиссионера с улицы Отвиль не оставившего ей ничего, она поселилась со своим братом, как из-за материальных соображений, так и из властного материнского чувства, и управляла старым холостяком, который сам управлял страной. Она заставила его назначить правителем канцелярии ее сына Мориса, который не легко мог найти себе применение и преуспевал только на чиновничьих должностях.

У Луайе была еще одна комната в небольшой квартирке на авеню Клиши, и он переезжал туда всякий раз, как начинал страдать головокружениями и сонливостью, что случалось каждую весну, потому что его одолевала дряхлость. Но как только он чувствовал, что голова и ноги становились крепче, он возвращался на свой чердак, где проживал уже почти полвека; оттуда ему были видны деревья Люксембургского сада, и туда полиция империи дважды приходила его арестовывать. Он хранил там трубку Жюля Греви. Трубка была, пожалуй, самым ценным сокровищем этого старика, пережившего в парламенте период краснбайства и период делячества, распорядившегося секретными фондами министерства внутренних дел в трех кабинетах, несворотимого свратителя, подкупившего для своей партии немало совестей. Он был безмерно снисходителен к служебным злоупотреблениям своих друзей, но сам, стоя у кормила власти, щеголял своей бедностью, почти что издевательской, немного циничной, упорной, закоренелой и полной достоинства.

Взгляд его погас, ум обленился, и, лишь изредка обретая прежнюю изворотливость и находчивость, Луайе посвящал остатки сил бильярду и политике концентрации.^[52] Ограниченная и малосообразительная г-жа Шейраль держала в руках этого хитрого, спокойного, угрюмого и игривого старца, который уже в шестой раз занимал министерский пост в кабинетах, сменивших клерикальный, но покорно предоставлял своему племяннику Морису бестолково и беззастенчиво выполнять неопределенные обязанности правителя канцелярии. Луайе, конечно, несколько удивился, обнаружив у своего племянника реакционные и клерикальные симпатии.

Но он был слишком склонен к апоплексии, чтобы пререкаться с сестрой.

Г-жа Шейраль в этот день сидела дома. Она очень радушно приняла г-жу Вормс-Клавлен, нарочно приехавшую к ней попозже, когда уже можно было не ожидать других визитеров.

Они любезно прощались. Жена префекта возвращалась на другой день к себе в префектуру.

– Уже, милочка!

– Пора, – отвечала г-жа Вормс-Клавлен, выглядевшая кроткой простушкой под черными перьями своей шляпки.

Это был ее обычный туалет для визитов – то, что она называла «нарядиться похоронной лошадью».

– Вы отобедаете с нами, милочка; вас не так уже часто можно видеть в Париже... Совсем по-домашнему. Брат вряд ли придет. Он последнее время так занят, так поглощен работой! Но Морис, вероятно, будет. Молодые люди теперь остепенились: не то, что раньше. Морис проводит со мной целые вечера.

Она стала уговаривать г-жу Вормс-Клавлен с вкрадчивой слащавостью гостеприимной особы.

– Без церемоний. Туалета менять не надо. Ведь я же говорю вам, что все будет по-семейному!

Госпожа Вормс-Клавлен добилась у министра внутренних дел ордена Почетного легиона четвертой степени для своего мужа, а у Луайе, министра юстиции и культов, – обещания включить аббата Гитреля, претендента на туркуэнскую епархию, в список, представляемый папе и перечислявший духовных особ, предназначенных для замещения шести епископских или архиепископских кафедр. Ничто больше не удерживало ее в Париже. Она намеревалась в тот же вечер уехать в префектуру.

Она отговаривалась, ссылаясь на «кучу дел», но г-жа Шейраль оказалась настойчивой. Так как супруга префекта упорствовала, г-жа Шейраль вдруг заговорила кислым тоном и поджала губы, что было знаком недовольствия. Г-же Вормс-Клавлен не хотелось ее рассердить. Она согласилась.

– Ну и отлично! Повторяю, обед будет без церемоний.

Он и был без церемоний. Луайе не приехал. Напрасно ждали и Мориса. Но пришла дама, содержательница табачной лавки, и старик, пользовавшийся весом в школьных кругах. Разговор носил серьезный характер. Г-жа Шейраль, интересовавшаяся только своими личными делами и питавшая неприязнь только к своим близким приятельницам, перечислила лиц, которых считала достойными занять места в сенате, в

палате депутатов или в академии, не потому, что занималась политикой, науками или литературой, но потому, что, как сестра министра, считала своим долгом судить обо всем, что касается интеллектуального и морального величия страны. Г-жа Вормс-Клавлен внимала с прелестной кротостью, все время сохраняя тот наивный вид, который напускала на себя в обществе, где ей было неинтересно. Она усвоила особую манеру опускать глаза, чем возбуждала пожилых мужчин и привела в смятение седого вершителя судеб национальной грамматики и гимнастики. Он искал под столом ее ножку. А она уже обдумывала, как дойти до трамвая, чтобы проехать от авеню Клиши к Триумфальной арке, где на перекрестке проспектов, расходящихся как бы лучами огромной орденовой звезды, помещался ее family-house. ^[53]

Войдя в гостиную под руку с пожилым господином, оказавшим такие значительные услуги начальному образованию она застала там молодого Мориса Шейраля, который, задержавшись в министерстве после заседания, пообедал в кабачке и заехал домой, чтобы переодеться и затем отправиться в театр. Он с интересом оглядел г-жу Вормс-Клавлен и уселся рядом с ней на старом материнском диване, под огромным северским блюдом, расписанным в неокитайском стиле и висевшим на стене в синей бархатной рамке.

– Госпожа Клавлен! Мне как раз нужно было поговорить с вами.

Госпожа Вормс-Клавлен была некогда худощавой брюнеткой. В таком виде она не претила мужчинам. Со временем она стала полной блондинкой. И в этом новом виде она тоже не претила мужчинам.

– Вы видели вчера моего дядю?

– Да. И он был со мной очарователен. Как он чувствует себя сегодня?

– Устал, очень устал... Он передал мне список.

– Какой список?

– Список кандидатов на свободные епископства. Вы очень стоите за то, чтобы назначили аббата Гитреля, не правда ли?

– Этого желает мой муж. Ваш дядя сказал мне, что исход дела будет благоприятен.

– Дядя... Вы полагаетесь на то, что говорит дядя... Он министр, – откуда же ему что-нибудь знать! Его обманывают. И кроме того, от него не добьешься откровенного слова. Почему вы не обратились ко мне?

Госпожа Вормс-Клавлен тихо ответила с прелестной стыдливостью:

– Ну, так я обращаюсь к вам.

– Вот это хорошо, – отвечал правитель канцелярии. – И тем особенно хорошо, что ваше дело не движется вперед, а двигаться ему или не

двигаться – зависит от меня. Дядя сказал вам, что представит папе шесть кандидатов?

– Да.

– Ну-с, так они уже давно представлены. Я это знаю. Я сам посылал представление. Я особенно интересуюсь церковными делами. Дядя принадлежит к старой школе: он не понимает значения религии. Я же пропитан ею насквозь. Положение таково: шесть кандидатов были предложены папе. Святой отец одобрил только четверых. Что касается двух остальных – господина Гитреля и господина Морю – то он не отвел их категорически, но заявил, что мало о них осведомлен.

Морис Шейраль покачал головой.

– Он мало осведомлен. А осведомится получше, так еще неизвестно, что он скажет. Между нами, сударыня, Гитрель производит на меня впечатление плута. А епископов надо назначать с большим отбором. Епископат – сила, на которую дальновидное правительство должно умело опираться. Это уже начинают понимать.

– Совершенно правильно, – подтвердила г-жа Вормс-Клавлен.

– С другой стороны, – продолжал правитель канцелярии, – ваш ставленник умен, образован и человек с широкими взглядами.

– В таком случае?... – спросила г-жа Вормс-Клавлен с восхитительной улыбкой.

– Дело деликатное! – отозвался Шейраль.

Шейраль был не очень умен. Он мог охватить одновременно лишь небольшое количество фактов и решал вопросы по столь легковесным соображениям, что их трудно было уловить. А потому считали, что, несмотря на юный возраст, он уже обладает самостоятельными взглядами. В данный момент он только что познакомился с книгой г-на Энбера де Сент-Аман о Тюильри в эпоху Второй империи; он был поражен, читая о великолепии блестящего двора, и размышлял о жизни, в которой, подобно герцогу де Морни,^[54] он сочетал бы удовольствия с политикой и наслаждался бы властью во всех отношениях. Он посмотрел на г-жу Вормс-Клавлен таким взглядом, что она отлично поняла его значение. Она молчала, опустив глаза.

– Дядя предоставляет мне полную свободу действий в этом вопросе, который его вовсе не интересует, – продолжал Шейраль. – Я могу поступить двояко. Или предложить теперь же лишь четырех кандидатов, одобренных в Риме... или же заявить нунцию, что список епископов не будет представлен на подпись президенту республики, пока папская курия не утвердит всех шестерых кандидатов. Я еще не пришел к определенному

решению, но я был бы счастлив поладить с вами в этом деле. Я буду ждать вас послезавтра в пять часов, в закрытой карете у решетки парка Монсо, на углу улицы Виньи.

«Риск невелик», – подумала г-жа Вормс-Клавлен. И ответила одними глазами, слегка их сощузив.

XVIII

Госпоже де Бонмон нетрудно было устроить у себя встречу Рауля Марсьена с аббатом Гитрелем. Свидание оказалось таким, как можно было ожидать. Аббат Гитрель был сама елейность, а Рауль был сама светскость и выказывал должное почтение к церкви.

– Господин Гитрель, – сказал он, – я принадлежу к семье солдат и священников. Я сам служил в армии, и тем самым...

Он не закончил. Аббат Гитрель протянул ему руку и ответил с улыбкой:

– По-видимому, мы олицетворяем здесь союз сабли и кропила...

И тотчас же с прежней священнической внушительностью добавил:

– Союз, благословенный свыше и вполне естественный. Мы ведь тоже солдаты. Лично я очень люблю военных.

Госпожа де Бонмон благожелательно взглянула на аббата, который продолжал;

– Мы открыли в моем приходе кружки, где молодые солдаты могут читать хорошие книги, покуривая сигару. Под покровительством монсиньора Шарло это начинание процветает и приносит немало пользы. Не будем несправедливы к нашему веку: много творится теперь дурного, но много и доброго. Мы участвуем в великой битве. Это, быть может, лучше, чем жить среди тех вялых душ, которым один великий христианский поэт не отводит места ни в раю, ни в аду.

Рауль согласился с этим, но ничего не отвечал. Не отвечал потому, что у него не было никакого мнения на этот счет, а еще потому, что был всецело поглощен мыслью о трех обвинениях в мошенничестве, возбужденных против него за последнюю неделю, и такая мысль лишала его всякой способности следить за абстрактными и обобщенными идеями.

Госпожа де Бонмон не знала ничего достоверного о причине этого молчания, а г-н Гитрель – тем более. Стараясь оживить разговор, он спросил у г-на Марсьена, знает ли тот полковника Гандуена.

– Это человек замечательный во всех отношениях, – добавил священник, – он служит превосходным образцом христианина и: солдата и пользуется в нашем приходе всеобщим уважением среди порядочных людей.

– Знаю ли я полковника Гандуена! – воскликнул Рауль. – Слишком хорошо знаю. Вот он где у меня сидит. Я еще сведу с ним счеты!

Эти слова огорчили г-жу де Бонмон и удивили аббата Гитреля: ни она, ни он не знали, что полковник Гандуен, с шестью другими офицерами четыре года тому назад приговорил капитана Марсьена к исключению из полка за недостойное поведение. Полковой совет ограничился этим мотивом, хотя мог сослаться на много других.

Кроткая Элизабет не ждала уже больших благ от этой встречи, которую устроила, чтобы умиротворить Рауля, отвлечь его от буйных помыслов и направить его мысли на любовные утехы. Но все же она дала выход своим чувствам и сказала голосом, в котором слышались слезы:

– Ведь правда, господин аббат, если человек молод, если ему предстоит блестящая будущность, он не должен предаваться отчаянию и тоске? Он должен, напротив, отгонять от себя черные мысли, не так ли?

– Безусловно, баронесса, безусловно, – отвечал аббат Гитрель. – Никогда не надо поддаваться отчаянию и беспричинной тоске. Добрый христианин, баронесса, не должен питать черных мыслей, это несомненно.

– Слышите, господин Марсьен? – сказала г-жа де Бонмон.

Но Рауль не слышал, и разговор прекратился.

Со всегдашней благожелательностью г-жа де Бонмон, несмотря на глубокую печаль, подумала о том, чтобы доставить маленькое удовольствие г-ну Гитрелю.

– Так ваш любимый камень, господин аббат, это аметист? – спросила она.

Священник, угадав ее намерение, ответил ей строго и даже с некоторой суровостью:

– Оставьте это, сударыня, пожалуйста, оставьте.

XIX

Встав рано утром, г-н Бержере, профессор римской литературы, отправился за город вместе с Рике. Они сердечно любили друг друга и были неразлучны. У них были одинаковые вкусы, и оба они вели жизнь спокойную, ровную и простую.

Во время прогулок Рике внимательно следил глазами за хозяином. Он боялся потерять его из виду даже на мгновение, потому что нюх у него был слабо развит и он не мог бы нагнать хозяина по следу. Но этот прекрасный, преданный взгляд привлекал к нему симпатию. Он семенил подле г-на Бержере с забавной важностью. Профессор римской литературы шел то быстрее, то медленней, повинуюсь прихоти своих мыслей.

Опередив его на несколько шагов, Рике всегда оборачивался и ждал, задрвав мордочку, приподняв согнутую лапу, с внимательным и настороженным видом. Какой-нибудь пустяк забавлял их обоих. Рике порывисто вбегал в подворотни и в магазины и мигом выскакивал обратно. В этот день, перемахнув одним прыжком через порог лавки угольщика, он очутился прямо перед огромным, ослепительно белым голубем. Голубь взмахнул в полумраке своими сверкающими крыльями и Рике в ужасе пустился наутек. По своей привычке он подбежал рассказать глазами, лапками и хвостом свое приключение г-ну Бержере, и тот стал подшучивать:

– Да, мой бедный Рике, какая ужасная встреча; мы чуть не стали добычей когтей и клюва крылатого чудовища. Этот голубь был страшен.

И г-н Бержере улыбнулся. Рике знал эту улыбку. Он отлично понимал, что хозяин смеется над ним. А этого он не любил. Он перестал вилять хвостом и поплелся, опустив голову, выгнув спину и раскорячив ноги – явный признак неудовольствия.

И г-н Бержере добавил:

– Бедняга Рике, твои предки проглотили бы эту птицу живьем, а ты ее боишься. Ты не так голоден, как они, а потому и не так отважен. Утонченная культура сделала из тебя труса. Еще большой вопрос, не ослабляет ли цивилизация у людей вместе с жестокостью и храбрость. Но культурные люди притворяются смелыми для соблюдения человеческого достоинства и создают искусственную доблесть, быть может, более прекрасную, чем природная. Ты же не стыдишься своего страха.

Неудовольствие Рике, по правде говоря, было не очень-то глубоко. И

не очень длительно. Все было забыто, когда человек и собака подошли к Жоздскому лесу в тот час, когда трава была еще влажна от росы и легкий туман стлался над откосами оврагов. Господин Бержере любил лес. Он погружался в нескончаемые грезы перед какой-нибудь былинкой. Рике тоже любил лес. Запах сухих листьев доставлял ему таинственные радости. Оба они задумчиво шли под зеленым сводом дороги, которая ведет к Стрекозиному перекрестку, когда им повстречался всадник, возвращавшийся в город. То был г-н де Термондр, член департаментского совета.

– Здравствуйте, господин Бержере, – сказал он, останавливая коня. – Ну, как – обдумали вы мои вчерашние доводы?

Накануне у книготорговца Пайо г-н де Термондр объяснял, почему он стал антисемитом.

Впрочем, г-н де Термондр был антисемитом лишь в провинции и главным образом в охотничий сезон. Зимой же в Париже он обедал у еврейских финансистов, которых достаточно любил, чтобы выгодно сбывать им картины. Он был националистом и антисемитом в департаментском совете, из уважения к чувствам, господствовавшим в главном городе департамента. Но так как евреев в городе не было, то антисемитизм выражался преимущественно в нападках на протестантов, составлявших небольшое, строгое и замкнутое общество.

– Да, значит, мы с вами противники, – продолжал г-н де Термондр, – мне очень жаль, так как вы умный человек, а далеки от социального движения. Бы не принимаете участия в общественной жизни. Если бы вы варились в этом соку, как я, вы тоже стали бы антисемитом.

– Вы мне льстите, – ответил г-н Бержере. – Семиты, населявшие некогда Халдею, Ассирию, Финикию и основавшие города на побережье Средиземного моря, состоят теперь из евреев, разбросанных по всему свету, и многочисленных арабских племен Азии и Африки. Мое сердце недостаточно обширно, чтобы вместить столько ненависти. Старик Кадм^[55] был семитом. Ведь не могу же я быть врагом старика Кадма.

– Вы шутите, – сказал г-н де Термондр, осаживая лошадь, которая обгладывала ветви кустарников. – Вы же знаете, что антисемитизм направлен только против французских евреев.

– Значит, мне пришлось бы ненавидеть восемьдесят тысяч человек, – ответил г-н Бержере. – Все еще слишком много: мне не по силам.

– Вас и не просят ненавидеть, – сказал г-н де Термондр. – Но французы и евреи несовместимы. Антагонизм неустрашим. Это расовая проблема.

– А я, напротив, думаю, – возразил г-н Бержере, – что евреи исключительно легко ассимилируются и что они самая пластичная и податливая порода людей на свете. Как некогда племянница Мардохая пошла в гарем Ассуэра, так же охотно и теперь дочери еврейских финансистов выходят замуж за наследников самых знатных имен христианской Франции. После этих браков уже поздно говорить о несовместимости двух рас. А кроме того, я считаю вредным делать в стране различие между расами. Отечество не определяется расой. Нет в Европе ни одного народа, который не состоял бы из множества слившихся и смешавшихся рас. Когда Цезарь вступил в Галлию, она была населена кельтами, галлами, иберийцами – народами различного происхождения, разной веры. Племена, сооружавшие дольмены, отличались по крови от тех, которые чтили бардов и друидов. Благодаря нашествиям к этому человеческому месиву прибавились еще германцы, римляне, сарацины, и все это составило один народ, народ героический и очаровательный – Францию, которая еще недавно учила Европу и весь мир справедливости, свободе, философии. Вспомните прекрасные слова Ренана; мне хотелось бы привести их со всею точностью: «Память о великих деяниях, сообща совершенных в прошлом и желание совершать их в будущем – вот в чем единство народа».

– Отлично, – сказал г-н де Термондр, – но у меня нет никакой охоты совершать великие деяния сообща с евреями, – так что я остаюсь антисемитом.

– Уверены ли вы, что можете быть антисемитом в полной мере? – спросил г-н Бержере.

– Не понимаю вас, – сказал г-н де Термондр.

– В таком случае объясню, – ответил г-н Бержере, – Можно установить неизменный факт: всякий раз, как нападают на евреев, находится немало евреев, которые становятся на сторону нападающих. Так именно случилось во времена Тита.^[56]

В этом месте разговора Рике сел посреди дороги и покорно посмотрел на хозяина.

– Вы согласитесь, – продолжал г-н Бержере, – что между шестьдесят седьмым и семидесятым годами нашей эры Тит проявил себя достаточно заядлым антисемитом. Он захватил Иотапату и истребил всех жителей. Он овладел Иерусалимом, сжег храм, превратил город в груды пепла и развалин, которая уже не имела имени и несколько лет спустя была названа Элиа-Капитолина. Он велел отправить в Рим священный семисвечник для своего триумфального въезда. Не в обиду вам будь сказано, но я думаю, что

вам никогда не удастся достигнуть таких пределов антисемитизма. Так вот! Тит, разрушитель Иерусалима, сохранил множество друзей среди евреев. Береника^[57] была к нему нежно привязана, и вы знаете, что разлучились они против своей воли. Иосиф Флавий^[58] был ему предан всей душой, а он был отнюдь не последним среди своих единоплеменников. Он происходил от царей асмонейских, жил как суровый фарисей и довольно правильно писал по-гречески. После разрушения храма и священного города он последовал за Титом в Рим и втерся в доверие к императору. Он получил право гражданства, звание римского всадника и пожизненное содержание. И не думайте, сударь, что он считал себя предателем иудаизма. Напротив, он оставался верен закону и тщательно собирал национальные древности. Одним словом, он был по-своему правоверным евреем и в то же время другом Тита. И такие Флавиусы во все времена водились в Израиле. Как вы сказали, я живу в отдалении от света и от людей, которые в нем копошатся. Но я был бы очень удивлен, если бы евреи и на этот раз не раскололись и изрядное число их не оказалось в вашем лагере.

– Некоторые действительно присоединились к нам, подтвердил г-н де Термондр. – Это служит к их чести.

– Так я и думал, – сказал г-н Бержере. – И, вероятно, среди них есть ловкачи, которые построят свое благополучие на антисемитизме. Лет тридцать тому назад передавали остроту одного сенатора, человека очень умного, который восхищался способностью евреев преуспевать и приводил в пример одного придворного священника из евреев: «Вот видите, – говорил он, – еврей получил священство и пролезет в преосвященство. Не будем воскрешать варварских предрассудков. Не будем доискиваться, еврей ли этот человек или христианин, а лучше спросим, честен ли он и полезен ли для страны.

Лошадь г-на де Термондра» зафыркала, и Рике, подойдя к хозяину, пригласил его умоляющим и кротким взглядом продолжать начатую прогулку.

– Не думайте, во всяком случае, – сказал г-н де Термондр, – что я осуждаю всех евреев без разбора. У меня есть среди них отличные друзья. А антисемит я – из патриотизма.

Он протянул руку г-ну Бержере, припустил лошадь и продолжал свой путь. Но профессор филологического факультета окликнул его:

– Э! дорогой господин де Термондр, послушайте совета; раз уж отношения испортились, раз уж вы и ваши друзья поссорились с евреями, то по крайней мере не оставайтесь перед ними в долгу и верните им бога,

которого вы у них взяли. Ведь вы у них взяли их бога!

– Иегову? – спросил г-н де Термондр.

– Иегову. На вашем месте я бы ему не доверял. Он был по духу евреем. Почему знать, может быть, он таким и остался? Почему знать, не мстит ли он за свой народ в эту минуту? Все, что мы видим, эти откровения, подобные ударам грома, эту отверстую глотку, эти знамения, исходящие отовсюду, этот синклит красных мантий, которому вы не смогли воспрепятствовать, когда вы были в силе, почему знать, не он ли вершит все эти странные дела? Они совсем в его библейском духе. Я, кажется, узнаю его хватку.

Лошадь г-на де Термондра скрылась за ветвями на повороте дороги, и Рике с довольным видом засеменял по траве.

– Остерегайтесь! – повторил г-н Бержере, – не оставляйте у себя их бога.

– Попросите господина Гитреля, – сказал Луайе.

Министр весь утопал за папками дел, скопившимися на столе в его кабинете. Маленький старичок в очках и с седыми усами, простуженный, со слезящимися глазами, насмешник и бука, был славным малым, сохранившим среди почестей и могущества манеры университетского наставника. Он снял очки, чтобы их протереть. Ему любопытно было взглянуть на этого аббата Гитреля, кандидата в епископы, который являлся к нему, предшествуемый блестящей вереницей женщин:

Первой пришла к министру в конце декабря хорошенькая провинциалка, г-жа де Громанс. Она без обиняков сказала ему, что надо назначить аббата Гитреля епископом туркуэнским. Старик министр, еще любивший аромат женщины, долго держал в руках ручку г-жи де Громанс и ласкал пальцем то место запястья между перчаткой и рукавом, где кожа над синими жилками особенно бархатиста. Но он не пошел дальше, потому что с годами все становилось для него затруднительным, а также из самолюбия, чтобы не показаться смешным. Зато в речах его сквозила эротика. Он спросил, по обыкновению, г-жу де Громанс, как поживает «старый шуан». Так он фамильярно называл г-на де Громанса. Он смеялся всеми морщинками вокруг глаз, так что даже прослезился под синеватыми стеклами своих очков.

Мысль о том, что «старый шуан» был рогоносцем, доставляла министру юстиции и культов совершенно непомерную радость. Рисуя себе это обстоятельство, он смотрел на г-жу де Громанс с большим любопытством, интересом и удовольствием, чем, быть может, она того заслуживала. Но на обломках своих любовных ощущений он строил теперь рассудочные забавы, из коих самая острая заключалась в том, чтобы представлять себе супружеские злоключения г-на де Громанса и смотреть при этом на сладострастную их виновницу.

В течение полугода, когда он был министром внутренних дел в прежнем, радикальном кабинете, он требовал от префекта Вормс-Клавлена конфиденциальных донесений о чете Громансов, а потому был осведомлен обо всех любовниках Клотильды, и ему нравилось, что их так много. Словом, он оказал самый любезный прием прекрасной просительнице и согласился внимательно ознакомиться с делом Гитреля, но не связал себя никакими обещаниями, так как был честным республиканцем и не

допускал воздействия женских капризов на государственные дела.

Затем на вечерах в Елисейском дворце просила за аббата Гитреля баронесса де Бонмон, обладательница самых красивых плеч в Париже. Наконец заезжала хорошенькая г-жа Вормс-Клавен, супруга префекта, чтобы замолвить словечко в пользу доброго аббата.

Луайе было любопытно взглянуть собственными глазами на священника, который привел в движение столько юбок. Он предполагал, что перед ним предстанет один из тех юных и рослых молодчиков в сутане, которых за последние годы церковь направляет в общественные собрания и даже в палату депутатов, – молодцов плечистых и речистых, благочестивых сельских трибунов, темпераментных и прожженных, властвующих над простецами и над женщинами.



Аббат Гитрель вошел в кабинет министра, склонив голову к правому плечу и держа шляпу обеими руками на животе. У него была достойная внешность, но желание нравиться и почтение перед властями предержавшими нанесли некоторый ущерб пастырской внушительности, о которой он так заботился.

Луайе заметил, что у него тройной подбородок, заостренная голова,

большой живот, узкие плечи и елейные повадки. И притом – старик.

«Что в нем находят женщины?» – подумал министр.

Сперва они обменялись незначительными фразами. Но, задав г-ну Гитрелю несколько вопросов относительно церковного управления, он убедился, что этот толстяк говорит ясно и судит толково.

Он вспомнил, что директор департамента культов г-н Мостар не возражал против назначения аббата Гитреля на турку энскую кафедру. Правда, г-н Мостар не представил обстоятельных доводов. С тех пор как клерикальные министерства чередовались с антиклерикальными, директор департамента не вмешивался в назначение епископов. Такого рода дела становились слишком щепетильны. У г-на Мостара был дом в Жуанвиле, он был завзятым садоводом и рыболовом. Заветной его мечтой было написать историю театра Бобино, который он знал в дни его расцвета. Он старел и становился мудрым. Он перестал отстаивать свои мнения. Накануне он дословно сказал своему министру: «Предлагаю аббата Гитреля, но аббат Гитрель или аббат Лантень – это люди из одного теста или, как говорил мой дядя, одного поля ягодка». Так полагал директор департамента культов. Но Луайе, старый законник, умел делать различия.

Ему казалось, что аббат Гитрель не лишен здравого смысла и не отличается чрезмерным фанатизмом.

– Вам не безызвестно, господин аббат, – сказал он, – что господин Дюклу, покойный епископ туркуэнский, под старость впал в нетерпимость и этим доставил немало хлопот государственному совету. Каково ваше мнение?

– Увы! – со вздохом ответил аббат Гитрель, – действительно монсиньор Дюклу на исходе дней своих и сил, спеша вкусить вечное блаженство, вызвал не совсем приятные осложнения. Но сама ситуация была тогда сложной. Теперь она изменилась, и его преемник может успешно заняться умиротворением умов. Главное, надо добиться искреннего примирения. Путь к этому проложен. Следует твердо вступить на него и пойти до конца. Фактически ни школьные, ни военные законы не создают никаких препятствий. Остается, господин министр только вопрос о монахах и государственной казне. Вопрос этот, надо признать, особенно важен в такой епархии, как туркуанская, сплошь, если можно так выразиться, усеянной всякими религиозными организациями. Я изучил его очень тщательно и могу поделиться с вами своими наблюдениями.

– Монахи не любят платить. В этом все дело, – сказал Луайе.

– Никто не любит платить, господин министр, – возразил аббат Гитрель. – Но у вас, ваше высокопревосходительство, большой опыт в

области финансов, и вы знаете, конечно, что есть тем не менее способ стричь налогоплательщика так, чтобы он не вопил. Почему не применить этого способа в отношении бедных монахов? Разве такие хорошие французы не могут быть и хорошими налогоплательщиками? Заметьте, господин министр, что с них, во-первых, взыскивают всеобщий налог...

– Естественно, – сказал Луайе.

– Во-вторых, – налог с неотчуждаемого имущества...

– И вы на это жалуетесь? – спросил министр.

– Нисколько, – отвечал аббат. – Я просто подсчитываю. Счет, дружбы не портит. В-третьих, четырехпроцентный налог с доходов от движимого и недвижимого имущества. И, в-четвертых, налог на приращение, установленный законами от двадцать восьмого декабря тысяча восемьсот восьмидесятого года и двадцать девятого декабря тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года. Только этот последний налог, как вам известно, господин министр, и вызвал в провинции возражения у разных конгрегации, которые протестовали в некоторых епархиях вместе со своими пастырями. Возбуждение еще не везде улеглось. По поводу этого пункта, господин министр, я и позволю себе изложить мысли, которыми буду руководствоваться в своей деятельности, если удостоюсь чести воссесть на престол святого Лупа.

Министр, приготовившись слушать дальше, повернул свое кресло в сторону аббата Гитреля, который продолжал:

– В принципе, господин министр, я осуждаю дух возмущения и считаю недопустимыми шумные и настойчивые требования. Тем самым я только подчиняюсь энциклике «*Diuturnum illud*», в которой Лев Тринадцатый, по примеру святого Павла, предписывает духовенству повиновение светской власти. Это – в отношении принципа. Теперь перейдем к фактам. Факты показывают, что монахи туркуэнской епархии находятся в отношении казны в очень разных положениях, и это весьма затрудняет для них какие бы то ни было совместные выступления. В самом деле, в этом церковном округе имеются конгрегации утвержденные и неутвержденные, конгрегации, посвященные бесплатной помощи бедным, старикам и сиротам, и конгрегации, целью которых является чисто духовная и созерцательная жизнь. Они подлежат различному налоговому обложению в соответствии с их разными целями. Таким образом, различие их интересов препятствует их сопротивлению, если только сам епископ не свяжет в один пучок всех претензий, от чего я, конечно, воздержался бы, если бы стал их духовным главой. Ради упрочения мира между церковью и республикой, господин министр, я позабочусь о том, чтобы в моей епархии

черное духовенство оставалось разобщенным и неорганизованным. Что же касается моего белого духовенства, – добавил священник твердым голосом, – я отвечаю за него, как генерал отвечает за свою армию.

Закончив речь, г-н Гитрель извинился за то, что так долго развивал свою мысль и злоупотребил драгоценным временем его высокопревосходительства.

Старик Луайе не ответил. Но он наклонил голову в знак одобрения. Он находил, что, для скуфейника, Гитрель достаточно умен.

Госпожа Вормс-Клавлен, раскрыв зонтик, шла в темноте, под дождем, твердой и решительной походкой, несколько не расслабленной провинциальными мостовыми, как это обыкновенно бывает. Дверцы фиакра, ожидавшего у решетки парка Монсо, слегка приоткрылись, а затем широко распахнулись. И г-жа 'Вормс-Клавлен спокойно уселась в экипаже рядом с молодым правителем канцелярии, который спросил ее, как она поживает. На это она ответила:

– Как всегда, – хорошо.

И добавила:

– Ну, и погода!

Вода струилась по стеклам экипажа. Все шумы города тонули во влажном воздухе, и слышен был только легкий шорох водяных капель.

Когда звук колес сделался глуше, она спросила:

– Куда мы едем?

– Куда хотите.

– Мне все равно... Лучше по направлению к Нейи.

Отдав распоряжение кучеру, Морис Шейраль сказал супруге префекта:

– Рад вас уведомить, что о назначении аббата Гитреля (Иоахима) епископом в Туркуэне будет сообщено завтра в «Правительственном вестнике». Не хочу хвастать, но, уверяю вас, задача была не из легких. Нунций большой мастер на оттяжки. Эти люди необычайно инертны... Словом, дело сделано!

– Как хорошо! – ответила г-жа Вормс-Клавлен, – я убеждена, что вы оказали услугу республиканской прогрессивной партии и что умеренные будут удовлетворены новым епископом.

– Итак, вы довольны? – сказал Морис Шейраль. И после долгого молчания он продолжал:

– Знаете, я не спал всю ночь. Я думал о вас. Мне не терпелось вас увидеть.

Как ни странно, а он говорил правду: ожидание этого простого приключения взволновало его. Но говорил-то он шутливым тоном, растягивая фразы, так что казалось, будто он лжет. К тому же у него не было апломба и решительности.

Госпожа Вормс-Клавлен рассчитывала выйти из этого экипажа без ущерба. Она приняла серьезный и кроткий вид и сказала ласковым

голосом:

– Благодарю вас, милый господин Шейраль. Пожалуйста, остановите здесь экипаж. Привет матушке.

И она протянула ему руку, свою маленькую коротенькую руку, в очень грязной перчатке. Но он удержал ее. Самолюбие и чувственность сделали его настойчивым и нежным. Тогда она приготовилась к неизбежному.

– Я грязна, как барбос, – сказала она в тот момент, когда он уже предпринял, действия, чтоб самому убедиться в этом.

Пока он шел к своей цели, несмотря на препятствия, сопряженные с местом и обстоятельствами, она вела себя просто, не нарушая хорошего тона. С превосходным тактом устранила все, что могло шокировать и походило на слишком затянувшееся сопротивление или на слишком быструю капитуляцию. А когда успехи Мориса стали ощутимы и неоспоримы, она воздержалась как от выражения иронического равнодушия, так и от активного содействия. Она была безупречна. Она, впрочем, не питала никакого неприязненного чувства к юному государственному деятелю, столь невинному, хотя и мнившему себя развратником; и она даже в душе пожалела о том, что недостаточно позаботилась о своем белье для такого случая. Она вообще обращала мало внимания на свое белье. Но в последние годы ее небрежность стала в самом деле недопустимой. Главная ее заслуга была в том, что она воздерживалась от всякой напыщенности и крайностей.

Достигнув поставленной цели, Морис внезапно стал спокоен, равнодушен и даже угрюм. Он заговорил о предметах, очень далеких от их теперешних отношений, и глядел сквозь стекло на мутные очертания улиц. Казалось, что фиакр катил по дну аквариума. Сквозь водяную завесу виднелись только газовые рожки, а местами стеклянные шары в аптечных витринах.

– Какой ливень! – вздохнула г-жа Вормс-Клавлен.

– Погода испортилась еще с неделю тому назад, – сказал Морис Шейраль. – Сплошная слякоть. А в ваших краях?

– Наш департамент самый дождливый во Франции, – отвечала г-жа Вормс-Клавлен с очаровательной ласковостью. – Но на песчаных аллеях в саду префектуры никогда не бывает грязи. А кроме того, мы, провинциалки, носим деревянные калоши.

– Представьте себе, – сказал Шейраль, – я совершенно не знаю вашего города.

– У нас прелестные места для прогулок, – отвечала г-жа Вормс-Клавлен, – и можно устраивать приятные поездки за город. Приезжайте к

нам. Муж будет очень рад.

– Он доволен своим департаментом?

– Да, доволен. Дела у него идут хорошо.

Прильнув к стеклу, она в свою очередь пыталась что-либо рассмотреть сквозь густой мрак, пронизанный убегающими огнями.

– Где мы? – спросила она.

– Где-нибудь очень далеко, – ответил он с торопливой услужливостью. – Куда прикажете вас отвезти?

Она попросила ссадить ее на остановке фиакров. Морис не скрывал своего желания с ней расстаться.

– Мне необходимо заглянуть в палату депутатов, – сказал он, – я не знаю, что там сегодня творилось.

– А! – промолвила она. – Было заседание?

– Да, кажется, но ничего важного, – ответил Морис. – Повышение тарифов. Впрочем, никогда нельзя знать. Я заверну туда по дороге.

Они расстались с дружеской непринужденностью. Когда г-жа Вормс-Клавлен садилась в фиакр на бульваре Курсель, около укреплений, газетчики выкрикивали вечерний выпуск и мчались мимо нее с развернутыми газетами. Она разглядела огромный заголовок и прочла: «Падение министерства».

Госпожа Вормс-Клавлен с минуту следила взглядом за этими людьми и прислушивалась к голосам, терявшимся во влажном мраке. И она подумала о том, что если сегодня вечером Луайе действительно уведомил президента республики о своей отставке, то он, вероятно, не поместит в завтрашнем «Правительственном вестнике» сообщения о назначении епископов. Она подумала еще о том, что и министр внутренних дел также не упомянет о своих последних распоряжениях относительно ордена ее мужа и что она зря провела полчаса за синими занавесками фиакра. Не то чтобы она сожалела о случившемся, но она не любила делать что-либо впустую.

– В Нейи, – сказала она кучеру, – бульвар Бино, монастырь сестер Крови иисусовой.

И она в задумчивости одна уселась в карету. Выкрики газетчиков проникали сквозь стекла. Ей пришло на ум, что известие в самом деле могло быть верным. Но газеты она тем не менее не купила, из недоверия и презрения ко всему, что печатается в прессе, и из своего рода самолюбия, чтобы не быть обманутой даже на одно су. Она размышляла о том, что, если министерство действительно пало в тот момент, когда она была так мила с его представителем, то это довольно разительный пример иронии судьбы и того коварства жизни, которое все время реет вокруг нас, подобно

легкому дыханию. Она спрашивала себя, не знал ли правитель канцелярии уже у решетки парка Монсо новость, оглашаемую теперь газетными крикунами. При этом подозрении кровь прилила у нее к щекам, словно посягнули на ее целомудрие и обманули ее доверие. Ибо в таком случае выходило, что Морис Шейраль посмеялся над ней. А этого она допустить не могла. Но здравый смысл и деловой опыт привели ее к выводу, что незачем беспокоиться о том, что пишут в газетах. Она без тревоги думала об аббате Гитреле и была довольна, что способствовала по мере сил своих возведению этого превосходного священника на кафедру блаженного Лупа. В то же время она опраивала свой туалет, чтобы явиться в пристойном виде в приемную сестер Крови иисусовой, у которых воспитывалась ее дочь.

На пустынных улицах низменного и сырого предместья Нейи туман был бледней и прозрачнее. И под поредевшим дождем большие голые деревья возносили свои изящные и мощные очертания. Г-жа Вормс-Клавлен разглядела тополя и вспомнила о деревне, которую с каждым днем все больше и больше любила.

Она позвонила у решетчатых ворот, увенчанных каменным гербом с изображением сосуда, в который Иосиф Аримафейский собрал святую кровь спасителя. По ее просьбе сестра-привратница послала за мадемуазель Клавлен. Супруга префекта вошла в светлую приемную, обставленную стульями с волосяными сидениями. Там перед бело-голубой девой, разверзавшей благостные руки, г-жа Вормс-Клавлен почувствовала, что ее охватывает глубокое и сладостное религиозное настроение. Чтобы стать христианкой, ей не хватало только крещения. Но она окрестила свою дочь и воспитывала ее в католической вере. Вместе с республикой она питала склонность к благочестию. В искреннем сердечном порыве опустилась она на колени перед доброй девой в лазоревом шарфе, к которой прибегали в своих нуждах светские дамы. С мистическим пылом, не нашедшим удовлетворения в иудействе, она, перед этой Марией с разверстыми руками, возблагодарила провидение за блага, ниспосланные ей в жизни. Она благодарила бога за то, что, родившись среди монмартрской нищеты и в детстве истоптав продранными подошвами грязную мостовую внешних бульваров, она жила теперь в самом лучшем обществе, принадлежала к господствующему классу, принимала участие в управлении страной, и за то, что, обращаясь к чужой помощи (ведь жизнь трудна, и без помощи не обойдешься), она по крайней мере всегда имела дело только со светскими людьми. – Здравствуй, мама!

Госпожа Вормс-Клавлен прежде всего подвела дочь к лампе, чтобы посмотреть ее зубы. С этого она всегда начинала. Затем она проверила, не

бледны ли края век от малокровия, прямо ли держится дочка, не грызет ли ногтей. И только успокоившись на этот счет, она осведомилась о занятиях и поведении. В своих заботах она руководилась верным чутьем и отличным знанием жизни. Она была превосходной матерью.

И когда, наконец, задребезжал звонок, призывавший к вечерним занятиям, и надо было расстаться, г-жа Вормо-Клавлен извлекла из кармана коробочку с шоколадными лепешками. Коробочка была вся измята, раздавлена, перекошена и зверски сплюснута.

Мадемуазель Клавлен взяла ее и заметила с иронией:

– Она точно побывала в сражении, мама.

– Ужасная погода! – сказала г-жа Вормс-Клавлен, пожимая плечами.

В тот же день, после обеда, она нашла на столе в салоне family-house'a номер большой вечерней газеты, сообщения которой заслуживали доверия. Она узнала, что министерство не пало и даже не поколебалось. Правда, в начале заседания за него голосовало меньшинство, но всего лишь по вопросу о порядке дня. А затем по основному пункту оно получило большинство в сто пять голосов.

Она была рада и подумала о своем муже: «Люсьену будет приятно узнать, что Гитрель назначен епископом».

Отослав собственную карету, г-жа де Бонмон села в фиакр и велела ехать на улицу Европейского квартала, где в маленькой квартирке она предавалась своей любви с Рарá под громыхание ломовиков и свистки машин. Она предпочла бы сады, но любовь не всегда ютится под миртами, у журчащих ручейков. Проезжая по улицам, на которых в вечерних сумерках начинали зажигаться фонари, она грустно задумалась. Правда, Гитреля назначили епископом туркуэнским. Она была рада. Но радость эта не заполняла ее души. Рарá приводил ее в отчаяние своей мрачностью и свирепыми замыслами. Она не иначе как с трепетом отправлялась теперь на свидания, хотя некогда так страстно ждала их, нетерпеливо предвкушая сладостный час. От природы доверчивая и спокойная, она стала бояться и за него и за себя, бояться несчастья, катастрофы, скандала. Душевное состояние ее друга, и без того не блестящее, внезапно еще ухудшилось. После самоубийства полковника Анри^[59] ее Рарá стал просто страшен. Испорченная кровь, словно серная кислота, разъела его кожу, покрыв лоб, веки, щеки как бы налетом дыма, серы и огня. По каким-то тайным причинам, которых она не могла постигнуть, милый друг уже две недели не возвращался на свою квартиру против Мулен-Руж, где он официально проживал. Он распорядился направлять ему письма в квартирку на антресолях, снятую г-жой де Бонмон для других целей; там же он принимал посетителей.

Медленно, печально поднялась она по лестнице. Но на пороге в ее сердце прокралась надежда застать там прежнего, очаровательного Рарá первых дней их любви. Увы! Надежда обманула. Ее встретили горькими упреками:

– Зачем ты пришла? Ты тоже меня презираешь.

Она запротестовала.

И в самом деле она не презирала его, она восхищалась им всей своей душой, душой влюбленной козочки. Она прильнула к усам друга накрашенными, впрочем, свежими губами и, рыдая, поцеловала его. Но он оттолкнул ее и принялся бешено расхаживать по обеим голубым комнатам.



Она бесшумно развязала свой пакетик с пирожными и спросила тусклым, безнадежным голосом:

– Хочешь бабу с вишневой настойкой, твою любимую?

И она протянула ему пирожное, держа его двумя липкими от сахара пальчиками.

Но не глядя и не слушая, он продолжал свое однообразное, яростное хождение.

Тогда она, с блестящими от слез глазами, с вздымающейся от вздохов грудью, приподняла густую черную вуалетку, прикрывавшую ей как маской верх лица, и от нечего делать принялась молча за шоколадный эклер.

Потом, не зная, что сказать, что предпринять, она достала из кармана футляр, только что взятый ею у ювелира, открыла его и, показывая Рарá лежавший там епископский перстень, робко сказала:

– Взгляни на перстень господина Гитреля. Правда, красивый камень? Это венгерский аметист. Как ты думаешь, господин Гитрель останется доволен?

– Плевать мне на него, – отвечал Рарá.

Огорчившись, она поставила футляр на туалетный столик.

Он же вернулся к своему обычному ходу мыслей и воскликнул:

– Как пить дать: уокошу одного из них!

Она взглянула на него недоверчиво, зная, что он только собирается убить всех на свете и не убивает никого.

Он угадал ее мысли. Разразилась гроза.

– Я знал, что ты меня презираешь!

Он был готов побить ее. Она долго плакала. Рара смягчился и нарисовал ей ужасную картину своих денежных затруднений.

Она умилилась, но не обещала крупной суммы, во-первых, потому, что не в ее принципах было давать деньги любовнику, и, во-вторых, из опасения, как бы он не уехал, если раздобудет нужные средства.

Она вышла из голубой квартирке в таком душевном смятении, что забыла аметистовый перстень на туалетном столике.

XXIII

– Вы занимаетесь, дорогой учитель? Я вам помешал? – спросил г-н Губен, входя в кабинет своего профессора.

– Нисколько, – отвечал г-н Бержере. – Я развлекался. Я переводил греческий текст александрийской эпохи, недавно найденный в Филах,^[60] в одной из гробниц.

– Буду вам весьма обязан, если вы познакомите меня с вашим переводом, дорогой учитель, – сказал г-н Губен.

– С удовольствием, – отозвался г-н Бержере. И он стал читать:

«О Геркулесе Атимосе.

Профаны обычно приписывают одному и тому же Геркулесу подвиги, совершенные разными героями, носившими это имя. То, что Орфей сообщает нам о Геркулесе Фракийском, больше напоминает бога, чем героя. Я не буду на этом останавливаться. Тирийцы знают другого Геркулеса, совершившего, по их преданиям, подвиги, которые кажутся маловероятными. Менее известно то, что Алкмена произвела на свет двух близнецов, очень похожих друг на друга и носивших оба имя Геркулеса. Один был сыном Юпитера, другой Амфитриона. Первый за свои заслуги удостоился пить за одним столом с богами из кубка Гебы, и мы считаем его богом. Второй вовсе не был достоин похвал и потому прозван Геркулесом Атимосом.^[61]

То, что мне известно о нем, я почерпнул от одного элевсинского жителя, человека осмотрительного и мудрого, собравшего много старинных сказаний. Вот что мне поведал этот человек.

Геркулес Атимос, сын Амфитриона, возмужав, получил от отца лук и стрелы, изготовленные Вулканом и разившие насмерть людей и животных. Однажды, охотясь на склонах Киферона за перелетными журавлями, он повстречал волопаса, который сказал ему:

– Сын Амфитриона, какой-то недобрый человек крадет ежедневно несколько волов из нашего стада. Ты блещешь юностью и силой. Если тебе удастся настичь этого похитителя волов и поразить его твоими божественными стрелами, то ты

удостоишься великих похвал. Но его нелегко догнать, ибо ноги его больше, чем у других людей, и очень быстрые.

Атимос обещал волопасу наказать разбойника и пошел своей дорогой. Углубившись в горные ущелья, он заметил вдали на тропинке человека, показавшегося ему злодеем. Решив, что это похититель волов, он убил его своими стрелами. Но пока свежая кровь этого человека еще стекала на дикие анемоны, Афина Паллада, светлоокая богиня, спустилась с Олимпа и предстала в горах перед Атимосом, который ее не узнал, так как она приняла образ престарелого слуги царя Амфитриона. И богиня обратилась к нему с такими словами:

– Божественный сын Амфитриона, тот, кого ты убил, не разбойник, не похититель волов. Это честный человек. Ты легко распознаешь виновного по следам его ног в пыли. Ибо ступни его длиннее, чем у других людей. Умерший жил праведно. Поэтому ты должен слезно умолять божественного Аполлона, чтобы он вернул ему жизнь. Аполлон не откажет тебе в твоей просьбе, если ты с мольбой будешь простирать к нему руки.

Но разгневанный Атимос отвечал:

– Я наказал этого человека за его злодейство. Неужели ты думаешь, старец, что я лишен рассудка и бью куда попало? Замолчи, безумец, беги прочь! Или я заставлю тебя раскаяться в твоей дерзости.

Юные пастухи, игравшие со своими козами на склоне Киферона, услышали слова Атимоса и наградили его такими звонкими хвалами, что от них загудела гора и закачались древние сосны. А Афина Паллада, светлоокая богиня, снова вознеслась на снежный Олимп.

Между тем Атимос, продолжая путь, вскоре напал на след похитителя волов, а затем увидел и его самого. Он легко узнал его по следам на песке. Ибо следы эти были много больше чем у прочих людей.

И герой рассудил про себя:

«Надо, чтоб этого человека признали невинным: тогда все поверят, что я убил виновного, и слава моя загремит среди людей».

Рассудив так, он подозвал этого человека и сказал ему.

– Друг, уважаю тебя за то, что ты безупречен и питаешь праведные мысли.

И вынув из колчана одну из стрел, выкованных Вулканом, он дал ее человеку и торопливо проговорил:

– Возьми эту стрелу, сделанную Вулканом. Все, кто увидит ее в твоих руках, будут чтить тебя и думать, что ты удостоило я дружбы героя.

Так он сказал. Злодей взял стрелу и удалился. А божественная Афина, светлоокая богиня, сошла со снежного Олимпа. Она приняла образ величавого пастуха и, подойдя к Атимосу, сказала ему:

– Сын Амфитриона, прощая этого виновного, ты вторично убил того невинного. И этот поступок не принесет тебе славы среди людей.

Но Атимос не узнал многочтимой богини и, приняв ее за пастуха, свирепо крикнул:

– Заячий хвост, винный бурдюк, собака, я вышибу из тебя дух!

И он занес над Афиной Палладой сделанный Вулканом Деревянный лук, который был тверже железа».

– Конец утерян, – сказал г-н Бержере, кладя листы на стол.

– Жаль, – заметил г-н Губен.

– Действительно, жаль! – ответил г-н Бержере. – Я с Удовольствием перевел этот греческий текст. Полезно иногда отвлечься от нашего времени.

XXIV

Уже начинались вечерние сумерки, когда г-жа де Бонмон со стесненным сердцем ехала в наемном экипаже повидаться с Рарá и забрать аметистовый перстень. Но ее тяготило предчувствие беды. Когда фиакр, миновав Европейский мост остановился у дверей милого друга, г-жа де Бонмон увидела что в воротах черным-черно от шляп и сюртуков. Происходило какое-то движение, напоминавшее не то переезд на другую квартиру, не то похороны. Какие-то люди складывали в коляску папки и связки бумаг. Кто-то нес сверху небольшое чемодан, и г-жа де Бонмон узнала старый походный сундучок, полный гербовых бумаг, в который Рарá столько раз свирепо засовывал свою побагровевшую голову и мохнатые руки.

Она оледенела от ужаса, когда растрепанная привратница шепнула ей на ухо:

– Не входите! Улепетывайте поскорее! Там судья я комиссар с полицейскими. Они забрали бумаги вашего приятеля и везде наложили печати.

Экипаж умчал потрясенную г-жу де Бонмон. Но и тут, падая в бездну после крушения своей любви, она все же вспомнила:

– А перстень монсиньора Гитреля! Тоже опечатан...

Уже три месяца говорили об этом. У г-на Бержере были в Париже друзья, которых он никогда не видел; такие друзья – самые надежные. Они действуют только по побуждениям духовного, высшего и абсолютного порядка, и когда они дают благоприятный отзыв, то с этим считаются. Друзья г-на Бержере решили, что ему место в Париже. Стали думать о его переводе туда. Г-н Летерье сделал все, что от него зависело. И наконец это осуществилось.

Г-ну Бержере поручили курс в Сорбонне. Выйдя на улицу от декана Торке, уведомившего его в надлежащих выражениях о назначении, г-н Бержере увидел черепичные крыши, стены из пористого камня, столько раз им виденные, таз для бритвы, раскачивающийся над дверью цырюльника, рыжую корову на вывеске молочника, маленького тритона, выплевывающего струю воды на повороте к предместью Жозд, И эти привычные предметы внезапно показались ему необычными. Ноги его вдруг отвыкли от мостовых, по которым он так часто и так долго ходил – то отяжелевшим шагом, когда был грустным или усталым, то более легкой поступью, когда думал о чем-нибудь приятном или забавном. Город, подымавший в серое небо свои купола и колокольни, казался ему чужим городом, уже далеким, полуреальным, не столько городом, сколько миражем города. И этот мираж все сокращался. Люди и предметы представлялись ему далекими и маленькими. Почтальон, две хозяйки, протоколист суда, попавшиеся ему навстречу, прошли мимо него, словно на экране кинематографа, настолько казались они ему нереальными, живущими в какой-то другой жизни.

Поддавшись на несколько минут этим странным ощущениям, он опомнился, так как у него был рассудительный ум и дар самонаблюдения. В них он находил неиссякаемый источник удивления, иронии и жалости.

«Ну вот, – подумал он на этот раз, – город, где я прожил пятнадцать лет, вдруг показался мне чужим, потому что я собираюсь отсюда уехать. Более того: он как бы утратил для меня свою реальность. Он больше не существует, поскольку перестал быть моим городом. Он пустое видение. И причина в том, что находящиеся здесь многочисленные и существенные предметы интересовали меня лишь в той мере, в какой они меня касались. Как только я отдалился от них, они вышли из круга моего восприятия. Словом, этот многолюдный город, расположенный на холме у берега

большой реки, этот древний галльский oppidum,^[62] эта колония, где римляне воздвигли цирк и капища, эта крепость, выдержавшая три памятных осады, служившая местопребыванием двух церковных соборов, некогда украшенная базиликой, – от которой уцелел склеп, – кафедральным храмом, филиальной церковью, более чем шестнадцатью приходскими церквями, ратушей, рынком, больницей, дворцами, еще издревле включенная в королевские владения и ставшая столицей обширной провинции, так что еще поныне на фронтоне губернаторского дворца, превращенного в казарму, виднеется герб, окруженный эмблемами доблести и львами, – этот город, где имеются епископское подворье, филологический факультет, естественный факультет, суд первой инстанции, судебная палата, этот центр богатого департамента – весь целиком я ставил в связь только с одним собой, населял одним собой и считал его существующим только для меня одного. И если я уеду, он испарится. Я не подозревал, что мой разум доходит до такого безумия в своей субъективности. Не знаешь сам себя и можешь быть чудовищем, даже не подозревая этого.

Так анализировал себя г-н Бержере, обнаруживая примерную искренность. Проходя мимо церкви св. Экзюпера, он остановился под порталом с барельефами Страшного суда. Он всегда любил эти старинные повествовательные скульптуры, развлекался этими сказаниями, высеченными в камне. Особенно нравился ему некий дьявол с собачьей головой на плечах и человеческим лицом на седалище. Дьявол этот тащил вереницу скованных друг с другом грешников, и оба его лица выражали истинное удовлетворение. Был там также монашек, которого ангел подтягивал за руки к небу, а черт тащил за ноги книзу. Все это очень нравилось г-ну Бержере, но никогда еще он не рассматривал с таким интересом эти изображения, как теперь, когда собирался расстаться с ними.

Он не мог оторвать от них глаз. Его умиляло это наивное представление о вселенной, выраженное мастерами, умершими более пятисот лет тому назад. Оно казалось ему очаровательным в своей нелепости. Он сожалел, что раньше не изучил его лучше и не присматривался к нему с достаточным интересом. Он подумал о том, что пройдет еще немного времени, и он уже больше не будет лицезреть портал со Страшным судом, который он видел позолоченным лучами солнца или поглубевшим от луны, ликующим при ярком летнем свете и потемневшим зимою.

Тут он почувствовал, что связан со всем этим невидимыми узами, которые не так легко порвать, и внезапно проникся глубоким

благоговением к своему городу. Он обожал старые камни и старые деревья. Он свернул со своего пути на городской вал, чтобы взглянуть на огромный вяз, который особенно любил. Под ним он часто сиживал летом на склоне дня. Прекрасное дерево, теперь лишенное листьев, обнаженное и черное, простирало под куполом неба свои могучие и изящные очертания. Г-н Бержере долго смотрел на него. Великан стоял спокойно – ни колыхания, ни шороха. Тайна его мирного существования погрузила в глубокие думы человека, собиравшегося начать новую жизнь.

Так г-н Бержере познал, что любил землю своей родины и город, где испытывал треволнения и вкушал тихие радости.

Монсиньор Гитрель, епископ туркуэнский, обратился к президенту республики со следующим письмом, текст которого полностью был напечатан в «Религиозной неделе», в «Истине», в «Хоругви», в «Изысканиях» и в другой периодике епархии:

«Господин президент!

Прежде чем представить на ваше усмотрение справедливые жалобы и вполне обоснованные притязания, позвольте мне хотя бы на краткий миг усладить душу сознанием, что мы с вами совершенно согласны в одном пункте, который не может нас не объединять; разрешите мне, понимая те чувства, какие должны были волновать вас в эти долгие дни испытания и утешения, присоединиться к вам в порыве патриотизма. О! как должно было стенать ваше сердце, когда кучка заблудших людей бросила оскорбление армии под предлогом защиты справедливости и правды, словно какая-либо правда и справедливость могут существовать в противовес общественному порядку и иерархии власти, установленной на земле самим господом богом. И какую радостью преисполнилось ваше сердце при зрелище нации, целиком, без различия партий, поднявшейся дабы приветствовать нашу храбрую армию, армию Хлодвига, Карла Великого и Людовика Святого, Готфрида Бульонского, Жанны д'Арк и Баярда,^[63] и став на ее сторону, отомстить за нанесенные ей оскорбления! О, с каким удовлетворением вы созерцали бдительную мудрость нации, расстроившую козни спесивцев и злопыхателей!

Конечно, нельзя отрицать, что честь столь достохвального поведения принадлежит всей Франции; но взор ваш, господин президент, слишком прозорлив, чтобы не усмотреть заслуг церкви и ее правоверных сынов, явившихся оплотом порядка и власти. Они были в первых рядах среди тех, кто с уважением и доверием приветствовал армию и ее вождей. И разве не там надлежало быть служителям того, кто избрал для себя имя «бога Воинств» и кто тем самым – по яркому выражению Боссюэ – приобщил воинства к своей святости? А потому вы неизменно

найдете в нас самую верную поддержку порядка и власти. Послушание, в коем мы не отказывали даже нашим царственным гонителям, неистоимо. Пускай же со своей стороны ваше правительство смотрит на нас дружественным взглядом и поступает так, чтобы послушание было нам приятно. Сердца наши ликуют, когда мы смотрим на эту военную машину, возбуждающую к нам уважение чужеземцев, и когда видим вас на вашем почетном посту в окружении блестящего генерального штаба, по примеру славного своей смелостью и добродетелями царя Саула, который приближал к своей особе храбрейших из воинов. «И когда Саул видел человека сильного и доблестного, брал его к себе» (I кн. Царств, XIV, 52).

О, как бы я хотел закончить это письмо тем, чем я его начал, словами радости и удовлетворения, и как мне было бы приятно, господин президент, назвать ваше уважаемое имя, говоря о создании мирных отношений с церковью, подобно тому, как я только что назвал его, говоря о победе, одержанной на наших глазах духом власти над духом раздора! Но увы! Этому не суждено быть. Я вынужден указать вам на одно весьма печальное обстоятельство и огорчить вашу душу прискорбным зрелищем. На мне лежит неотвратимая обязанность напомнить вам о кровоточащей язве, которую необходимо исцелить. Я заинтересован в том, чтобы высказать вам горестные истины, а вы заинтересованы в том, чтобы их выслушать. Мой пасторский долг обязывает меня говорить. Удостоившись, по милости его святейшества, занять престол блаженного Лупа и стать преемником стольких святых апостолов и стольких бдительных пастырей, мог ли бы я считаться законным наследником их высоких деяний, если б не дерзнул их продолжать? «Другие трудились, а вы вошли в труд их» (От Иоанна, V, 38). А потому мой слабый голос должен возвестись и дойти до вас. Вам также должно со вниманием внять моим словам, ибо затронутый мною предмет достоин размышлений главы государства: «Владыка помыслит то, что достойно владыки» (Исайя, XXXII, 8).

Но как приступить к этому вопросу без того, чтобы тотчас не впасть в глубокую скорбь? Как описать вам без слез положение монахов, коих я являюсь духовным главою? Ибо речь идет о них, господин президент. Какое душераздирающее зрелище представилось моим взорам, когда я прибыл в свою епархию! На

пороге благочестивых учреждений, посвященных воспитанию детей, исцелению больных, призрению старцев, подготовке наших будущих священнослужителей, размышлению о таинствах, я увидел только озабоченные лица и горестные взгляды. Там, где некогда царили невинная радость и мирный труд, угнездилась теперь мрачная тревога. Вздохи воздымались к небу, и из всех уст вырывался крик отчаяния: «Кто призрит наших старцев и больных? Что станет с нашими малыми детьми? Где нам молиться?» Так сокрушались у ног своего пастыря, целуя ему руки, монахи и монахини туркуэнского епископства, у которых отняли их достояние, то есть средства на содержание бедных, вдов и сирот, на пропитание клириков, на поддержку миссионеров. В столь трогательных жалобах выражали затворники свою скорбь перед угрозой разорения, ожидая, что агенты фиска, насильно ворвавшись в обители наших девственников и в наши святые места, наложат печати на священные сосуды алтарей...

В такое состояние приведены наши религиозные общины благодаря применению законов о налоге на приращение и законов об абонементном налоге, если только можно назвать законами такие бессмысленные и преступные предписания. Эти слова, господин президент, не покажутся слишком резкими, если присмотреться к положению монахов, созданному грабительскими мероприятиями, которым предполагают придать силу закона. Достаточно минуты внимания, чтобы согласиться с моим мнением. Действительно, поскольку конгрегации подлежат общему обложению, то недопустимо облагать их другими налогами. Вот первая несправедливость, бросающаяся в глаза. Укажу еще и на другие. Но позвольте мне, господин президент, заявить уже по этому пункту столь же настоятельный, сколь почтительный протест. Я не облечен достаточными полномочиями, чтобы говорить от имени всей церкви. Однако я уверен, что не отклонюсь от истинной доктрины, если в качестве основного принципа права выставлю утверждение, что церковь не обязана платить налоги государству. Она согласна их платить, она платит по своей доброй воле, но платить не обязана. Древнее право, освобождающее ее от обложения, вытекает из ее суверенности, ибо суверен не платит. Она может всегда, в любой момент, когда ей заблагорассудится, потребовать восстановления

этого права. Но отказаться от «той привилегии она принципиально не может, как не может отказаться от своих прав и своих обязанностей владыки. На деле она проявляет поразительную самоотверженность. Вот и все. Покончив с этими оговорками, вновь перехожу к дальнейшему изложению.

Конгрегации в финансовом отношении подлежат:

во-первых, общему обложению, как я уже упоминал; во-вторых, налогу с неотчуждаемого имущества;

в-третьих, четырехпроцентному налогу с доходов (законы от 1880 и 1884 годов);

в-четвертых, налогу на приращение, чудовищные результаты которого пытались якобы исправить введением так называемого абонементного налога, каковой правительство взимает ежегодно по предположительной оценке с доли имущества, переходящей к конгрегации от умерших членов.

Правда, выказывая мнимую снисходительность, являющуюся в сущности утонченной несправедливостью и лицемерием, закон оговаривает, что странноприимные и учебные заведения могут быть в силу их полезности освобождены от этих тягот, словно обители, где наши благочестивые девы молят господу простить прегрешения Франции и даровать прозрение слепым ее правителям, не столь же и даже не более полезны, чем пансионы и госпитали!

Вводя неравное обложение, стремились разобщить интересы конгрегации. Таким путем надеялись расшатать сопротивление. С той же целью установили годовой налог на движимое и недвижимое имущество в тридцать сантимов со ста франков для утвержденных конгрегации, а для неутвержденных – в сорок сантимов, так что эти последние, не имея права владеть имуществом, обязаны тем не менее платить и даже платить больше других.

Резюмирую сказанное. К общему обложению, и без того тяжкому для наших конгрегации, присоединяется еще налог с неотчуждаемого имущества, четырехпроцентный налог с доходов и так называемый налог на приращение, заменяемый абонементным налогом, но не к облегчению, а еще к большему отягощению. Разве это терпимо? Где во всем мире можно найти пример такого отвратительного грабежа? Нет, господин президент, вы должны согласиться, что нигде.

А потому, когда монахи моей епархии спросили меня, своего пастыря, как им поступить в том положении, до которого их довели, то мог ли я ответить им иными словами, чем оказав: «Спротивляйтесь! Ваше право и ваш долг – воспротивиться несправедливости. Спротивляйтесь. Скажите: «Мы не можем. Non possumus».

Они на это решились, господин президент, и все наши конгрегации, как утвержденные, так и неутвержденные, воспитательные, больничные, предназначенные для нужд религиозного созерцания и для приюта духовных лиц или подготовляющие миссионеров для других стран, – все, несмотря на неравенство обложения, решились на единодушный отпор. Они поняли, что налог, которым в различной форме их облагают ваши так называемые законы, одинаково несправедлив и надо действовать совместно для общей защиты. Решение их непоколебимо. Сам его подготовив и поддерживая его, я убежден, что не нарушаю должного повиновения правителю и законам, каковое я всецело готов оказывать вам согласно требованиям религии и совести. Я убежден, что не подаю вам повода заподозрить меня в непризнании вашей власти, каковая может проявлять себя только в справедливых деяниях. «Вот царь будет царствовать по правде» (Исайя, XXXII, 1).

Его святейшество Лев XIII безоговорочно заявил в своей энциклике «*Diuturnum illud*», что верующие не обязаны подчиняться светским властям, когда те издадут распоряжения, противоречащие естественному и божественному праву. «Если кто, – говорится в этом замечательном послании, – окажется перед альтернативой нарушить веления господина или повеления властителя, он должен последовать заветам Иисуса Христа и ответить по примеру апостолов: «Лучше повиноваться господу, чем людям». Поступая так, он не заслужит упрека в неповиновении, ибо властители, когда их воля противоречит воле и законам божества, превышают свою власть и грешат против справедливости. С этого момента их власть бессильна, ибо там, где она несправедлива, она не существует».

Поверьте, что только после долгих размышлений я решился поощрить монахов моей епархии к необходимому сопротивлению. Я отдал себе отчет в том, какие мирские испытания могут выпасть на их долю. Это не остановило меня.

Когда мы скажем вашим мытарям: «Non possumus», вы попытаетесь сломить наше упорство силой. Но как вы это сделаете? Опишете имущество утвержденных конгрегации? – Дерзните ли вы? Неутвержденных? – Едва ли вы сможете!

Хватит ли у вас прискорбного мужества продать наш домашний скарб и церковную утварь? А если, тем не менее, ни скудость первого, ни святость второй не уберегут их от вашей алчности, то да будет вам ведомо и да будет ведомо женам и детям ваших пособников, что такая продажа повлечет за собой отлучение, ужасные последствия коего устрашают даже самых закоренелых грешников. И да будет ведомо тем, кто решится покупать что-либо на этой незаконной распродаже, что и они подвергнутся той же каре.

И даже если у нас отберут наше имущество, если нас выгонят из наших обиталищ, то не мы, а вы понесете от этого ущерб, ибо опозорите себя неслыханным поступком. Вы можете подвергнуть нас самым жестоким утеснениям. Никакая угроза нас не остановит. Мы не страшимся ни узилища, ни оков. Ведь своими руками, закованными в цепи, наши первосвященники и исповедники освободили церковь. Что бы ни случилось, мы платить не будем. Мы не должны, мы не можем. Non possumus.

Прежде чем дело дойдет до такой крайности, я счел своим долгом, господин президент, ознакомить вас со всеми обстоятельствами в надежде, что вы рассмотрите их с тем искренним рвением и с той душевной твердостью, которые ниспосылает господь всем, кто на него уповает из сильных мира сего. Да поможет он вам отвратить невыносимое зло, которое я вам обрисовал! Да будет угодно богу, господин президент, да будет угодно богу, чтобы, расследуя несправедливость казны в отношении наших схимников, вы судили по собственному разумению, а не под влиянием ваших советчиков! Ибо, если верховенствующий и выслушивает чьи-либо мнения, то руководствоваться он должен лишь своим собственным. Согласно мудрому слову Соломона: «Помыслы в сердце человека – глубокие воды». (Книга притчей Соломоновых, XX, 5). Благоволите принять, господин президент, выражение глубочайшего почтения.

Иоаким,

епископ туркуэнский».

Письмо его преосвященства епископа туркуэнского было опубликовано 14 января.

Тридцатого того же месяца агентство Гавас поместило в газетах следующую информацию:

«Совет министров заседал вчера в Елисейском дворце.

Постановлено: уполномочить министра культов войти в государственный совет с представлением касательно превышения власти монсиньором Гитрелем, епископом туркуэнским, по поводу его письма к президенту республики».

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Предоставим мир людским пререканиям (*лат.*).

Давид д'Анже, Пьер Жан (1788–1856) – французский скульптор и революционер: автор ряда портретных статуй, бюстов и медальонов, создатель громадного барельефа на фронте Пантеона в Париже, представляющего собою серию портретов знаменитых французских деятелей.

Мартен, Анри (1810–1883) – французский историк, автор девятнадцатитомной «Истории Франции», называвший себя «неисправимым кельтом» и развивавший мысль, что «новая Франция и старая Франция, Галлия – одно и то же духовное явление».

Граф Шамбор, Анри, граф д'Артуа (1820–1883) – внук Карла X, представителя старшей линии Бурбонов, свергнутого революцией 1830 года. – *Граф Парижский*, Луи-Филипп Орлеанский (1838–1894) – внук Луи-Филиппа, представителя младшей линии Бурбонов, свергнутого революцией 1848 г. Французские роялисты делились на легитимистов, строивших планы восстановления во Франции монархии в лице графа Шамбора, которого они именовали Генрихом V, и на орлеанистов, поддерживавших притязания графа Парижского, а после его смерти – его сына Филиппа. Эти «претенденты», изгнанные из Франции законами республики, имели в стране свою агентуру.

Карл IX – французский король с 1560 по 1574 г. Его царствование ознаменовалось четырьмя религиозными войнами во Франции. С его ведома была устроена резня Варфоломеевской ночи.

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627–1704) – французский проповедник и духовный писатель, идеолог абсолютизма.

Клотарий II – франкский король (584–628).

Неемия – еврей-виночерпий персидского паря Артаксеркса I, содействовавший восстановлению иерусалимского храма после вавилонского плена.

Дюсерсо – семья французских архитекторов XVI–XVII вв. Известны Жак Дюсерсо – архитектор и гравёр, и его сын Батист Дюсерсо – строитель Нового моста в Париже.

Мифологическое яйцо – из яйца, по некоторым греческим мифам, появилась на свет красавица Елена, дочь Леды и Зевса, принявшего образ лебедя. В греч. мифол. образ Елены иногда символизирует солнечное сияние.

Вобан, Себастиан (1633–1707) – французский маршал и военный инженер, осуществивший укрепление французской границы и постройку большого количества крепостей. На старости лет Вобан написал «*Проект королевской десятины*», где развивал мысль о необходимости более справедливого взимания налогов, чем навлек на себя немилость короля Людовика XIV.

Леклерк, Себастиан (1637–1714) – французский гравёр и рисовальщик.

Эригона – юная девушка, имя которой связано в греческом мифе и появлением виноградарства. Образ Эригоны символически обозначал виноградную лозу.

Черная банда – организация спекулянтов, скупавших после французской революции XVIII в. старинные замки и другие памятники архитектуры.

Жорж – так обычно именовался Жорж Кадудаль, один из предводителей контрреволюционного вандейского восстания. В 1804 г. был казнен как заговорщик, покушавшийся на жизнь первого консула (Наполеона). После реставрации Бурбонов семья Кадудалья получила дворянство.

Мадридская Армерия – знаменитая коллекция старинного оружия, начало которой было положено еще в XVI в., при Филиппе II.

Лагерь золотой парчи – название, присвоенное местности в Па-де-Кале, где в 1520 г. произошла встреча французского короля Франциска I с английским королем Генрихом VIII, обставленная необычайной роскошью.

Байрейтский театр – театр близ баварского города Байрейта, специально построенный для постановки музыкальных драм Р. Вагнера.

Св. Фома – здесь имеется в виду богослов Фома Аквинский. – *Св. Губерт*, считается у католиков покровителем охотников.

На Мадагаскар в 1895 г. французским правительством была послана военная экспедиция, осуществившая захват этого острова.

Лурье, Поль-Луи (1772–1825) – французский либеральный публицист, автор памфлетов против режима Реставрации.

Эрисфей – в греч. мифол. царь, по повелению которого Геркулес совершает свои двенадцать подвигов, чтобы, согласно оракулу, заслужить бессмертие.

Геркулес Фарчезский – античная статуя, изваянная римским скульптором Гликоном Афинским, греком по происхождению. Находится в Неаполе.

Лисипп – греческий скульптор и литейщик (IV в. до н. э.).

Деянира – в греч. мифол. супруга Геракла (Геркулеса), ставшая невольной виновницей его гибели: снедаемая ревностью, она послала Гераклу одежды, вмещенные снадобьем, которое, по уверению враждебного Гераклу кентавра, обладало свойством укреплять супружескую любовь, а в действительности было смертоносным ядом; облекшись в эти одежды и почувствовав приближение смерти, Геракл возлег на костер и погиб, объятый пламенем.

Танатос – бог смерти в греческой мифологии.

Керкопы – мифические жители о-ва Питекуза в Тирренском море, которые за насмешки над Юпитером и проказы были превращены в обезьян («Метаморфозы» Овидия).

Гилас – в греч. мифол. сын царя Феодаманта, красивый мальчик, любимец Геркулеса, спутник его по походу аргонавтов, похищенный водяными нимфами.

Превотальный суд – суд, выносивший свои решения, не стесняясь какими-либо юридическими формами. Решения превотальных судов не допускали апелляции. Учреждались во Франции в различные эпохи, особенно в 1815 г. – *Сеньориальный суд* – суд феодального владельца. – *Официал* – духовный судья.

Бушор, Морис – французский поэт второй половины XIX в.

Фердинанд VII (1784–1833) – испанский король, низложенный в 1808 г. Наполеоном и снова возведенный на престол в 1813 г. Его царствование было периодом жестокой феодальной и клерикальной реакции в Испании.

Граф де Келюс (1692–1765) – французский археолог.

Молох – в финикийской мифологии бог солнца; ему приносили человеческие жертвы.

Ученика, ученого (*англ.*).

Requiem (реквием) – заупокойная католическая обедня.

Miserere – покаянное церковное песнопение.

Ролан, Манон, – жирондистка, основательница политического салона; была гильотинирована в 1793 г. Оставила после себя «Мемуары».

Dies irae (лат. – день гнева) – католический покаянный гимн.

Мелин, Феликс-Жюль (1838–1925) – французский политический деятель, прогрессист; в 1896–1898 гг. глава так наз. «однородного министерства», составленного исключительно из умеренных и поддерживаемого консерваторами. Мелин открыто покровительствовал клерикалам и финансовому капиталу. В «Современной истории», помимо тех мест, где Мелин упоминается под своим собственным именем, он изображен также в читаемых профессором Бержере рассказах о «трублионах», где выступает под именем Робена Медоточивого.

Заира – героиня одноименной трагедии Вольтера (1732).

Скриб, Эжен (1791–1861) – французский драматург, автор популярных на буржуазной сцене многочисленных комедий.

Альтаир – звезда первой величины, желтого цвета, в созвездии Орла. –
Альдебаран – звезда первой величины, красного цвета, в созвездии Тельца.

Лурд – город на юго-западе Франции, место паломничества на поклонение Лурдской богородицы, якобы явившейся неподалеку от Лурда деревенской пастушке, как это утверждала легенда, сочиненная клириками в 1858 г. с благословения папы Пия IX. Лурдский источник был объявлен католической церковью «чудодейственным».

Эврип – пролив между островом Эвбеей (в Эгейском море) и материком. – *Фисон* – в Библии одна из четырех рек, орошавших райский сад. – *Орк* – в римск. мифол. подземный мир, царство теней, а также бог подземного царства (Плутон).

Который был знаменит около 1250 года (*лат.*).

Мантуанская плита (*лат.*).

Неизданные тексты (греч.).

Прикрывать злодейство – есть злодейство (*лат.*).

СКОТ (лат.).

Консул Авл *Гирций*, друг Цицерона, и консул Гай Вибий *Панса* командовали в 43 г. до н. в. войсками, сражавшимися при Мутине (ныне Модена, город в Северной Италии) вместе с легионами Октавиана (Гая Октавия), против Марка Антония.

Ливия Друзилла (род. ок. 56 г. до и. э.) – третья жена Октавиана.

Политика концентрации – политика соглашения между фракциями республиканского большинства палаты депутатов, т. е. между радикалами и умеренными (оппортунистами). На основе «политики концентрации» было организовано во Франции несколько кабинетов министров в 80-е и 90-е годы XIX века.

Семейная гостиница (англ.).

Герцог де Мори, Шарль (1811–1865), побочный брат Наполеона III, один из основных участников декабрьского переворота 1851 г., председатель законодательного корпуса при Второй империи.

Кадм – в греч. мифол. сын тирского царя Агенора, основатель Фив «семивратных», изобретатель греческого алфавита (на финикийской основе).

Tum – римский император (с 79 по 81 г.).

Береника – дочь иудейского царя Агриппы I (род. в 28 г.).

Иосиф Флавий (37 – ок. 100 г.) – еврейский историк, автор «Истории иудейской войны» и «Иудейских древностей».

Полковник Анри был уличен в изготовлении фальшивого документа, который должен был послужить окончательным доказательством виновности Дрейфуса в государственной измене. Анри признался в совершении этого подлога. Было ясно, что он являлся лишь исполнителем поручений высшего начальства. Анри был арестован и заключен в военную тюрьму Шерш-Миди, где на следующее утро его нашли в камере с перерезанным горлом.

Филы – островок на реке Нил, ныне Джебзирей-Эль-Бирбе.

Презренным (*греч.*).

Укрепленный пункт, город (*лат.*).

Хлодвиг I – король франков (ок. 466–511 г.), основатель франкской монархии. – *Готфрид Бульонский* (1058–1100) – герцог Нижней Лотарингии, предводитель первого крестового похода. – *Баярд* – (ок. 1473–1524) – знаменитый французский полководец.